

Федор Федорович Торнау

Воспоминания о Кавказе и Грузии

I.

Заклучив мои Воспоминания о кампании 1829 года в Европейской Турции отъездом из Крайова, перехожу прямо к началу моей службы на Кавказе. Не стану говорить ни о годовом пребывании в Яссах, ни о Польской войне 1831 года. В Яссах разыгрался для меня первый роман моей жизни, до того невинный, до того бедный похождениями, что рассказ о нем утомил бы читателя; а сердечные чувства, которыми отличается первая робкая привязанность, да позволят мне сохранить в одной собственной памяти. В Польскую же кампанию обстоятельства были для меня очень неблагоприятны. Мои воспоминания о ней не выходят из тесного круга, в котором дозволено было вращаться егерскому прапорщику, исправлявшему при главной квартире армии должность офицера генерального штаба. Упомяну только, каким образом я из Молдавии попал в армию, действовавшую в Польше, и каким путем выбыл из нее на Кавказ.

С самого начала войны, когда войска наши двинулись к Праге, генерал Гейсмар был назначен командиром авангарда. При этом случае он не забыл выпросить под свое начальство меня и Веригина, моего неразлучного товарища в 1829 году. Веригин, служивший в Кинбурнском драгунском полку, находился вблизи театра военных действий; для него было нетрудно вовремя поспеть к любимому начальнику, при котором он, к сожалению, находился недолго, потому что имел несчастье под Дембо-Вельки попасть в плен к полякам. Приказание приехать в Букурешт для сдачи статистических сведений, которые я собирал в Молдавии, и после того сорокадневный карантин в Скулянах принудили меня потерять много времени по-пустому. Освободившись из карантинного чистилища, я поскакал в Царство Польское по прямой дороге, считая ее, как следовало думать, ближайшим путем к месту моего назначения. Оказалось иначе.

Дверницкий прорвался тем временем на Волынь, польская шляхта повстала, на дорогах появились разбойничьи шайки, и прямое сообщение с главною армией прекратилось для одиночных путешественников. Дивизионный командир, генерал-лейтенант Свечин, задержал меня по этому случаю в Дубно недели на две и отпустил в отряд генерала Ридигера не прежде, как было получено известие о Биромлинском деле, после которого Дверницкий отступил к австрийской границе.

Ридигер, которому я был известен по предыдущей кампании, остановил меня в свою очередь и, нуждаясь в офицерах генерального штаба, заставил исправлять квартирмейстерскую должность при первой драгунской дивизии. В главную квартиру армии он отправил меня с депешами из-под Замостья, когда после Остроленского сражения дороги в Литве начали очищаться от повстанцев. В село Клешово, близ Пултуска, где находилась главная квартира, я имел несчастье приехать в самый день смерти графа Дибича и к довершению горя не застал Гейсмара в армии. За неудачу,

понесенную им под Прагой, его отрешили от командования и удалили в Россию. Гейсмар страдал за чужую вину, но впоследствии оправдался и в первый день Варшавского штурма принудил своих завистников совершенно замолкнуть, атаковав польский передовой редут и овладев им с быстротой, отличавшею все его действия в Турецкую кампанию. Покамест никто не предвидел будущего благоприятного поворота его судьбы, все считали его человеком с погибшею репутацией, и совесть мучила меня за то, что я не поспел разделить с ним беду, пользовавшись выгодами прежних удач, которыми он так охотно делился со своими подчиненными. К моему счастью, я имел случай явиться к нему после занятия Варшавы, когда он, тяжело раненый при взятии передового пятиугольного редута, лежал в одной из окрестных деревень, и совершенно очистил себя в его мнении насчет причины моего неприбытия к нему в авангард.

В главной квартире продержали меня до перехода через Вислу возле Оссека и после того командировали в авангард, к графу Биту, при котором я находился также во время двухдневного штурма варшавских укреплений. Кто бы пожелал ближе познакомиться с подробностями этого кровавого эпизода Польской войны 1831 года, тому советую обратиться к истории Шмидта; лучше и вернее трудно рассказать. Собственно для себя я вынес оттуда сильную контузию в голову, оставившую мне память на всю жизнь, и — чин подпоручика. После окончания войны меня перевели в Петербург, где я в департаменте генерального штаба три месяца прилежно просидел за маршрутным столом, от которого выпросился на Кавказ, привлекавший в то время русскую военную молодежь, предпочитавшую труды боевой жизни парадной службе и блеску паркетных удач.

В начале марта 1832 года я оставил Петербург, а в Тифлис успел приехать не прежде половины апреля по причине нестерпимо дурного состояния дорог, заставлявшего меня испытывать поочередно всевозможные способы передвижения: в санях, на колесах, верхом и, в горах, даже пешком. До Екатеринограда приходилось ехать на перекладных; от этого места до Владикавказа на наемных, а от Ларса, первой станции в горах, до Тифлиса опять на переменных, почтовых лошадях. На Кабардинской плоскости, между Екатериноградом и Владикавказом, не для чего было учреждать в то время почтовую езду. Кому надо было, тот измерял это пространство небольшими переходами и не иначе как под защитой сильного конвоя, потому что горцы день и ночь рыскали за добычей в соседстве русской границы и около дороги, служившей для прямого сообщения с Грузией. Никому из ехавших в Тифлис нельзя было миновать Екатеринограда, главной станицы горского линейского казачьего полка, и пробраться отсюда до Владикавказа без «оказии».

Оказией называли провиантские колонны, направлявшиеся два раза в неделю с линии во Владикавказ под прикрытием пехотного конвоя при одном или двух орудиях. С ними отправляли курьеров, почту и всех проезжающих, для которых, когда не было оказии, ни под каким предлогом не поднимался шлагбаум, стоявший при въезде на мост через Малку. Кому из старых кавказцев не привелось томиться скукой в Екатеринограде, ожидая выступления оказии, и после того сердиться несколько суток сряду, нестерпимо страдая от холода или от жары, глядя по тому, зимой или летом злая судьба приковывала его к шествию воловьего транспорта? И я ходил с оказией много раз. К счастью, в последнее время моего пребывания на Кавказе оказии были уже

отменены; по Кабардинской плоскости стали ездить на переменных лошадях с небольшим числом казаков, а теперь и эта предосторожность совсем не нужна: между Екатериноградом и Владикавказом ныне не более опасности как на любой столбовой дороге внутри России. Но в 1832, необыкновенно тревожном году, на Кавказской линии господствовал совершенно другой порядок. Начиная от Среднего Егорлыка, отделявшего землю Донских казаков от Кавказской области, путешественника встречали и провожали на станциях велеречивыми рассказами о свирепости черкесов и о беспрестанных грабежах и убийствах, производимых ими по самым ближайшим окрестностям. К счастью его, это были покамест одни сказки; около ста верст он мог еще проехать, не рискуя ни головой, ни чемоданом. Ближе к Ставрополю дело принимало другой вид; опасность, существовавшая до того в одном напуганном воображении кавказского новичка, обращалась в действительность, быстро возрастающую по мере сближения с Кубанью, Малкой и Тереком, отделявшими Линию от неприятельских земель. Пограничные поселяне, обращенные позже в казаков, и линейские казаки, свыкшиеся с постоянною тревогой, менее говорили о ней, но зато более остерегались. На ночь езда по дорогам прекращалась для всех, кроме нарочных, которым давали в прикрытие сколько было нужно казаков. С рассветом выезжать со станции было менее опасно. Хищники — официальный термин для обозначения горцев, прорывавшихся в наши пределы, — редко позволяли себе «шалить», то есть убивать и грабить, в утреннее время, когда рабочий народ толпами выходил в поле, и когда по берегам пограничных рек и по всем дорогам казачьи разъезды отыскивали «сакму» разбойников, успевших прокрасться в степь под защитой ночи. Многолюдство грозило немедленным распространением тревоги, а долгий день способствовал казакам преследовать их. Зато последние часы перед закатом солнца слыли, не без основания, самым опасным временем дня. Шайки хищников, скрытно дневавшие в глубоких балках, прорезывающих линейские степи, или в густых лесах, покрывавших берега Терека и Кубани, появлялись там, где их нисколько не ожидали, угоняли табуны и стада, убивали оборонявшихся, хватали в плен беззащитных и под покровом ночи ускользали от погони. В числе нескольких сот человек они нападали на крестьянские селения или пытались врываться иногда в казачьи станицы; в честь казакам будь сказано, эта последняя попытка почти никогда им не удавалась. Вечерняя встреча в поле с конными людьми в мохнатых шапках, когда, к тому же, лица были укутаны башлыками, и у передового ружье вынуто из чехла, редко предвещало добро. Сердце сжималось болезненно, когда в степи неожиданно появлялась шайка подобных ездоков; рука судорожно ложилась на курок ружья или пистолета, и тоску отводило только в счастливом случае, если удавалось разглядеть у них более сапогов чем чевяк: значит казаки, а не чеченцы и не закубанцы. После этого понятно, почему для линейцев с наступлением ночи наставал не покой, а начиналось настоящее бдение: из станичных ворот выезжали заставные и разъездные казаки, резервные съезжались на сборное место; на улицу казак не выходил иначе как с ружьем, вынутым из чехла, и в свою конюшню не заглядывал без пистолета в руке. Чеченец, случалось, прокрадется в станицу, заползет на двор к казаку, спрячется под плетнем и ждет, пока кто-нибудь выйдет ночью подложить корм лошади или коровам. Удар кинжалом или пуля отплачивают казаку за мусульманскую кровь, пролитую неведомо каким гяуром, — кто станет разбирать виноватого? — и чеченец исчезает мгновенно, как будто он тут и не бывал. В таком положении я застал Кавказ в 1832 году; полагаю, старые кавказцы еще помнят это время.

Вплоть до самого Екатеринограда любопытство новоприезжего более возбуждалось плодородием почвы да видом многочисленных стад, чем живописною стороною природы. Гладкая черноземная степь, изредка прорезанная балками, утомляла глаз. Села попадались нечасто, еще реже встречались леса. Не доезжая Ставрополя, местность изменяла свой

однообразный вид; дорога шла в гору, окаймленная с обеих сторон глубокими лесистыми оврагами. На значительной высоте раскинулся город, составлявший в то время административный центр обширной страны, простиравшейся от Черного до Каспийского моря.

Наружный вид Ставрополя, признаться, мало соответствовал важности политического значения, которое город должен был иметь в глазах люда, обращавшего к нему свои взоры и упования. Поднявшись на гору с северной стороны, приезжий прежде всего усматривал необыкновенно просторное поле, на котором две линии низеньких деревянных домов, образуя входящий прямой угол, обозначали два фаса проектированной площади; с двух остальных сторон поле ограничивалось кладбищем да оврагом. Эта возникающая площадь занимала самый высокий пункт горы. Посреди ряда построек, очерчивавших восточный фас, открывалась главная улица, фланкированная по углам каменными домами, справа — длинным, одноэтажным строением, в котором жил командующий войсками, слева — горделиво глядевшими на своего приземистого соседа двухэтажными хоромами советника казенной палаты З... Спустившись под гору, улица упиралась в высокие каменные ворота, не то крепостные, не то триумфальные, красовавшиеся в чистом поле и поэтому ничего не запиравшие. Никому не удавалось разрешить трудную загадку, для чего поставлены эти ворота — между тем нельзя было без них вообразить Ставрополь. Кроме командующего войсками жили еще на площади: обер-квартирмейстер, дежурный штаб-офицер, председатель казенной палаты и несколько других, менее важных сановников военного и гражданского управления. Начальник штаба, губернатор и комендант обитали в домах, составлявших украшение главной улицы, наряду с театром, с гостиним двором и со знаменитою гостиницей Найтаки. За исключением названных, все прочие дома, деревянные, турлучные или из сырцового кирпича, принадлежали к числу известных в провинции домов «без архитектуры», то есть в один этаж, пять окон во фронте, дверь сбоку под крошечным навесом, все это без тени украшения.

Не думал я, проезжая в первый раз через Ставрополь, что мне самому десять лет спустя придется в нем пребывать, да еще с женой, шесть недель после свадьбы. Жил я на вышесказанной площади, в небольшом деревянном домике, принадлежавшем хозяину каменного углового дома, советнику З... На противоположном конце той же линии находился другой небольшой домик, белый снаружи, белый внутри, вмещавший другое молодое хозяйство. Мы вели между собой доброе знакомство и вместе пережили много радостных минут и много дней, исполненных досады и беспокойства. Потом судьба развела нас в разные стороны. М... пошел путем постоянного труда, не сворачивая ни вправо, ни влево, и силой ума и воли победил препятствия, возникающие перед человеком, для которого не расчищают дороги ни дядюшки, ни тетушки, ни бабушки. Я, со своей стороны, не упускал случая пожить и в свое собственное удовольствие и по этой причине далеко отстал от моего ставропольского сослуживца. Не горюю, впрочем, о том, чего сам не достиг, и ему не завидую. Охотно бы сказал о нем побольше, да говорят, живых не только хулить, даже хвалить не позволено; поэтому снова обращаюсь к характеристике площади.

Весной и осенью по ней разливалось море грязи; зимой она покрывалась снежной оболочкой в полсажени глубиной. Бывало, поднимется вьюга, и несколько суток нельзя показать глаз за двери дома; ворота занесет с обеих сторон, и люди принуждены лазить через них, пока

употреблявшие на это дело арестанты не раскопают снежной горы. Однажды гости собрались к какому-то из счастливых обитателей площади провести вечер; тем временем разыгралась непогода, воздух наполнился клочьями снега. Вечерние посетители кое-как выбрались за ворота, но на площади потеряли направление, никак не могли попасть в жерло большой улицы и вернулись, сколько их тут ни было, ночевать к принимавшему их хозяину, благодарные ему за то, что он не поспешил погасить свечи, позволившие им вторично отыскать его дом. В мое время знакомого мне доктора чуть не замело ночью на площади. Выехав около полуночи навестить больного, несмотря на дурную погоду, он увяз с саними в снежном сугробе, долго бился, стараясь высвободить лошадь с помощью кучера, но, утопая все более, принужден был послать его за помощью, а сам остался при экипаже. Пока кучер добрался до домов, стучал в ворота — звонков в Ставрополе не знали — и не мог достучаться, доктора снег начал покрывать, вихрем кружась над его головой. Горка быстро увеличивалась, охватывая лошадь, сани и коченевшего седока. Случайно набрали на него офицеры, возвращавшиеся с веселой пирушки, и высвободили его из этого некомфортабельного положения. В летнее время мне самому не раз случалось видеть и даже испытывать, как облака, нисколько не стесняясь городскими воротами, гуляли по ставропольским главным улицам. Бывало, катятся на встречу клуб густого тумана, накрывает вас, обдаёт дождем и градом — проносится вверх по улице, и снова яркое солнце светит над вашей головой. Это о наружности города. Из его внутренних качеств я успел в мой первый безостановочный проезд вкушать только прелести гостиницы Найтаки и не был ею приведен в восторг, хотя на своем веку много уже испробовал русских провинциальных гостиниц, заезжих домов и жидовских «корчм». Правда, в то время прогресс не успел еще проникнуть в глубину номеров Найтакинской гостиницы, освежить коридорный запах, повеять на кухню благодатным ароматом гвоздики и лаврового листа, и над длинным, хотя и каменным, строением «без архитектуры» поднять второй этаж с танцевальной залой, где, семь лет спустя, отбывались балы Ставропольского Благородного Собрания. Тогда гостиница приняла действительно благородный вид, позволявший городским красавицам и любезникам аристократического круга, не брезгую, переступить через ее порог, когда раздавалась бальная музыка. И куда девались эти красавицы и эти любезники? Одни состарились, разъехались, поумирили другие, и сколько из их ревностных поклонников покоятся вечным сном за Кубанью, за Тереком, на берегу Черного моря! Немногие из посетителей Ставропольского Собрания, в тридцатых годах предававшихся восторгу, когда «с вод» появлялась «роза кавказская», или трудолюбиво ухаживавших за девицей Р. и за девицей П., странствуют еще по белому свету или отдыхают под сению домашних пенатов, ожидая своей очереди уступить место новому поколению.

От Ставрополя до Екатеринограда мы доехали на третьи сутки, отправляясь с почтовых дворов по несколько повозок зараз, ради общего казачьего конвоя; говорю мы, потому что от самого Петербурга я ехал не один, а с родственником А. Л. В., поступившим на службу из отставки, человеком умным и отменно добрым, но не созданным для кавказской жизни. Его строгой точности более сродны были кабинетные занятия, чем кавказское военное дело, беспрестанно разрушавшее своими быстрыми переворотами все расчеты его методического порядколюбия. Кто из тифлисцев не знал в 1832 году Александра Лаврентьевича, не любил, не уважал его, и совершенно дружески слегка не подсмеивался над его методизмом? Год спустя он избрал благую дорогу, переехал служить в Петербург, завел вокруг себя примерный порядок и, не имея сам семьи, с истинно-христианским самозабвением трудился для пользы своих родных. Во все время проезда дождь нас мочил и весенний туман проникал до костей; по этой причине мы не могли

видеть Бештау, лежащей верст пятьдесят вправо от Георгиевска, с купой целебных источников, сгруппированных у его подножия.

II.

Екатериноград — казачья станица старой, неправильной постройки на левом, господствующем берегу Малки. Длинная и узкая плотина, устроенная поперек низменности, покрытой садами попережку с невысоким лесом, и через реку мост на каюках, связывали станицу с карантинном, стоявшим на правом берегу. Мост и карантин прикрывались земляным люнетом. В 1832 году лес и сады, лежавшие по обе стороны плотины под обрывом, над которым возвышалась станица, служили любимым притоном для «хищников». Безрассудно было вечером ходить туда поодиночке или ночевать в садах. Вообще, фруктовые сады и виноградники, составлявшие лучшие богатства казаков, живших на берегу Терека, были постоянным театром разбойничьих нападений со стороны горцев, и в журнале военных происшествий на Линии играли немаловажную роль.

Между Екатериноградом и Владикавказом простирается на расстоянии ста пяти верст открытая равнина, по которой, кроме множества незначительных потоков, протекают три быстрые и глубокие реки: Урух, Ардон и Архон. Это пространство нам следовало пройти с «оказией».

В Екатеринограде нам довелось отдохнуть не более суток от безостановочной езды в почтовой телеге, — начиная от Воронежа, где с прекращением снежного пути мы были принуждены покинуть спокойную зимнюю кибитку. На другой день нашего приезда явился десятский с повесткой, что утром выступает «оказия» и всем проезжающим приказано на рассвете собираться перед карантинном, по ту сторону Малки. Хозяйка квартиры, которую мы занимали безденежно, по отводу, как следовавшие «по казенной надобности», нанялась доставить нас до Владикавказа. За отсутствием мужа, отправленного «в партию», лошадьми должен был править «непомнящий родства», приписанный к их семье работником. В то время Кавказская Линия была наполнена беглецами из внутренних русских губерний. Для пополнения убыли между казаками и для заселения области, являвшихся на Линию бродяг, по большей части беглых помещичьих мужиков, объявлявших притом, что они не помнят родства, не разбирая кто и откуда, приписывали на несколько лет к казачьим семействам, потерявшим отцов или сыновей на войне с горцами. У них беглецы работали, приучались владеть конем и оружием и, по прошествии определенного срока, поступали навсегда в казачье сословие. И наш кучер принадлежал к числу «непомнящих родства», спасавшихся от крепостной благодати. Линейское положение о бродягах, случалось, порождало довольно забавные недоумения в народных понятиях. Однажды прибыли на Линию несколько сот душ, целым селением, с женами, детьми, скотом и птицей и стали просить земли, объявив, что не имеют ни роду, ни племени и совершенно забыли прежнее место жительства. По правилу, их следовало бы обратить в казаков, но помещик был человек со влиянием и настоял на возвращении беглецов, для освежения потерянной памяти о прежнем, завидном быте.

Едва начинало светать, когда мы переправились через Малку. Прибыв на место из первых, я имел случай видеть очень любопытный сбор оказии: сначала стали появляться на поле повозки и экипажи всевозможных видов. Телеги, брички, кибитки, тарантасы, между ними даже коляска, хотя и допотопного сооружения, а все-таки настоящая рессорная коляска, рысцой выезжали за ворота предмостного укрепления. За экипажами тянулись длинные ряды грузных телег, запряженных светло-серыми, длиннорогими черноморскими волами; со скрипом двигались высокие двухколесные татарские арбы, влекомые черными буйволами, и покачиваясь, шагали громоздко навьюченные верблюды. Всадники скакали по всем направлениям. С козел правили лошадьми: где русский бородатый мужик, где казачок, где отставной солдат в военной шинели, на голове мохнатая кабардинка, а где молоденькая, краснощекая, поворотливая казачка или солдатка в полумужском наряде. Из экипажей и с высоты арб глядели заспанными глазами физиономии разноплеменных путешественников и путешественниц, укутанных в военные шинели, в бекеши.

, сторону. На это была важная причина. Из-за Терека пронеслись неблагоприятные слухи: Кази-Мегмет, известный в народе под именем Кази-Муллы — Шамиль того времени — спустился из Дагестана в Чечню, набрал многочисленную шайку и готовился атаковать русских. Не было еще известно, куда он намерен идти; поэтому его ожидали повсюду и везде готовились дать отпор. Имея в виду произвести общее восстание горцев на левом фланге и в центре Кавказской Линии, он считал делом первой необходимости увлечь за собой Большую Кабарду и этим способом, если не совершенно прервать, то по крайней мере затруднить сообщение по Военно-Грузинской дороге. При исполнении своего замысла, Кази-Мегмет. не мог миновать нашего пути. Кавказское военное начальство понимало опасность, которая ему угрожала, и всеми мерами старалось ее отвести; поэтому нечего было удивляться, если командир оказии, штабс-капитан линейного батальона, принимал повседневные меры предосторожности. К нашему счастью, он был старый, опытный кавказец, к тому же принадлежал к категории людей, имеющих обыкновение заранее не храбриться, а в минуту действительной опасности не робеть. Под его начальством, как и при каждом другом, с нами могла случиться беда, но можно было надеяться, что он со своей стороны не оплошает. Я был хотя молод, но уже достаточно обстрелян для того, чтобы не ошибиться в человеке. На его смелость и хладнокровие можно было положиться, не рискуя себя обмануть; а о солдатах нечего и говорить. В первый раз я увидел здесь коренного кавказского солдата, во всю дорогу любовался им, то есть им самим, а не косматой шапкой, которою он накрывался, вопреки формы, не потертой шинелью и не амуниционною принадлежностью, до которой будто не прикасалась пригонка, и не долго медлил решить, что с этим солдатом можно покуситься на все. Далее увидят, ошибся ли я в своем заключении.

Вследствие всего, что делалось на глазах у путешественников и что доходило до слуха их, между ними стало распространяться сильное беспокойство: у многих лица вытягивались, по мере того как мы уходили в степь и спасительный берег Малки исчезал из виду. Напрасно твердили робеющим, что не далее четырнадцати верст до ближайшей крепости, и что на пути имеются пять укреплений: Пришибское, Урухское, Минаретское, Ардонское и Архонское, в которых можно ночевать совершенно безопасно от Кази-Муллы и его чеченцев. Их встревоженное воображение упрямо отталкивало каждую успокоительную идею. Было в нашей оказии много разнохарактерного народу: шатались тут люди совершенно беззаботные, думавшие о чем угодно,

только не об опасности; суетились и поддельные храбрецы, делавшие неимоверные усилия громким хвастовством отвести страх, сжимавший их сердца. Всех смелее оказывались дамы, обладающие, как известно, обще принадлежащею им способностью никогда не бояться настоящей опасности и всегда пугаться без причины. Сильно тревожились два петербургские чиновника, ехавшие на Кавказ за чином коллежского асессора и жалованьем по усиленному окладу; мысль подвергнуться крушению так близко к порту своих надежд, попасть в плен или, пожалуй, и того хуже, раздирала им душу. Наравне с ними, если не сильнее еще, волновался счастливый владелец коляски, управляющий владикавказскою винно-откупною конторой. Сначала его встревоженный вид крайне забавлял нас, потому что он нисколько не шел к его рябому, пучеглазому лицу и плечистому складу, по которым трудно было отнести его к категории существ слабонервных; но потом мы поняли причину его тревожения и признали ее совершенно законною. Легко было нам, отвечавшим за одни собственные головы, подтрунивать над беспокойным взглядом «управляющего», да над огромным телескопом, которым он ежеминутно целил на все стороны горизонта; мы не сидели в оболочке отца, имевшего при себе двух дочек, только что выпущенных из ставропольского благородного девичьего пансиона, где их обучали такому множеству языков и других предметов, что у них от научного звона в ушах в голове образовалась совершенная пустота. Но говорить о воспитании, которое давалось в то время дочерям небогатых чиновников в наших провинциальных пансионах, не идет к делу. Займемся отцом. Давнишний кавказский жилец, он хорошо знал какая судьба ожидала девочек, если б они, к несчастью, попались горцам в руки, и поэтому не был спокоен ни на мгновение; барышни же, не имея ясного понятия об участи, которая им угрожала в таком случае, боялись чего-то незнакомого и, чтобы одолеть страх, пытались храбриться, как храбрятся дети, пока действительно не увидят трубочиста, которым нянька грозит, когда они начинают капризничать.

Ничего нет легче как заводить путевое знакомство при подобных обстоятельствах; была бы только охота знакомиться. Никогда я не имел привычки брезговать товарищами, которых судьба посылала мне в дороге, на почтовой станции или каком-нибудь забытом уголке земли; какого они чина, звания и светского положения, мало меня тревожило, потому что и в молодости я не страдал смешною боязнию уронить себя через минутное знакомство с кем бы то ни было.

Иное дело дружить, вступать в тесную связь — тут я готов был отступить на три шага от самого знатного имени, от самой заманчивой наружности, если личность меня не привлекала. Побуждаемый склонностию отыскивать людей оригинальных, типических, без разбора наружной оболочки, под которою скрывались их серьезные или забавные качества, я познакомился уже на первом переходе с большим числом наших спутников. «Управляющий» любил заводить новые знакомства несравненно более меня, но, как человек опытный и практичный, знал насколько в таком деле требуется осмотрительности от представителя семейства. Он подходил и кланялся первый, но прежде, чем решался всепокорнейше пригласить к коври, расстилавшемуся возле коляски, когда оказии давали отдых, деликатно разведывал кто куда едет, откуда, какого чина, и не значится ли за ним по формуляру родового или благоприобретенного. Его любознательность заслуживала полного уважения, потому что она происходила из самого чистого чувства родительской заботливости; на сказанном ковре красовались не одни соленья и настойки из первых рук, но и две дочки, шестнадцати и семнадцати лет. Нельзя же было упускать из виду существенные достоинства, которыми могли обладать некоторые из субъектов, брошенных

случаем на пути его дочерей при первом вылете их из гнезда. Пристроить дочерей было в его уме делом первой важности; он понимал, как трудно будет для него, овдовевшего много лет тому назад, в одно время следить за кознями амура против юных сердец обеих барышень и за проделками откупной челяди. В оказии находились, между прочим, и люди солидные. Кто знает, чем может кончиться шутка? Суженого, ряженого и конем не объедешь, — говорит пословица, — а коли судьба, так, пожалуй, нагонишь его воловьим шагом оказии.

С первого начала «управляющий» обратил на меня мало внимания: моя рогожная кибитка с мизерною кладью, молодость и чин армейского подпоручика внушали ему весьма посредственное уважение к моей персоне. Иное дело, если б я числился капитаном, ротным командиром, да был на дороге в батальонные, из которых можно шагнуть и в полковые, — тут позволительно поклониться лишний раз; а то молодой егерский подпоручик и ничего более: какого проку от него ожидать? Богат, так маменька не позволит жениться, хотя за дочками и водится капиталец; беден, так, пожалуй, готов тотчас в церковь, — значит, только придется кормить, пока до чего-нибудь «дотянет»; а не то примется девочкам попросту строить куры да отбивать солидных женихов. Из приемов моего «управляющего» легко было заметить, что он, как подобало его житейскому призванию, глядел на вещи с чисто практической точки зрения. Сообразно с этим душевным настроением, он не замедлил сделать быстрый поворот в мою сторону и засыпать меня любезностями, когда дошло до его сведения, что я, несмотря на мой армейский мундир, еду в Тифлис служить в корпусном штабе. Знакомство со «штабным» в его глазах имело свою выгоду. К сожалению, он позабыл заранее разведать, что я не принадлежу к категории «пригодных штабных», не касаясь, по роду моих занятий, до подрядов, поставок и прочих хозяйственных распоряжений, иначе не тратил бы он на меня такого избытка любезности, закусок и настоек. Во время двух последних переходов — мы шли всего четыре дня — он находил большое удовольствие рассуждать со мной о кавказских политических делах, бранить снисходительность начальства к горцам, критиковать распоряжения командира оказии, вследствие чего не уставая шагал возле нашей повозки, на привалах приглашал к завтраку, вечером на чай и нередко на походе усаживал в коляску против своих дочерей, когда это завидное место случайно не было занято ехавшим с нами комиссионером.

Пожалуй, найдутся люди, которые прервут мой рассказ простодушным вопросом: почему же комиссионеру такой почет. Они, значит, в тридцатых и сороковых годах нашего столетия сидели еще на школьной скамье, и я должен дать им объяснение. В те времена, о которых я вспоминаю, в обширной сфере русского чиновничьего мира комиссионер провиантского или комиссариатского ведомства занимал место привилегированного существа, истинного баловня счастья, перед которым прочие чиновники, папеньки взрослых дочерей, низко кланялись, маменьки умильно улыбались, а барышни стыдливо опускали ресницы, выразительно перебирая пальцами уборку платья или комкая носовой платочек. Говорю о барышнях, приобретших уже некоторую долю опытности в оценке жизненных благ, то есть перестрадавших первый период сердечного влечения к идеалам, в красных, бирюзовых, зеленых и иного цвета гусарских доломанах, и понявших, наконец, какая бездна отрады гнездится в глубине туго набитого кармана, какой бы мундир его ни прикрывал. Комиссионер был тогда не то, что ныне, обыкновенный служащий; для его деятельности раскрывался в то время необозримо широкий горизонт, на склоне которого фортуна рисовала ему розовыми чертами не только чины, ордена и прочие награды, но и очерки

домов, фабрик, с придачей сотен и тысяч ревизских душ. О ломбардных билетах нечего и говорить, они сами собой, без всякого труда, укладывались к нему в бумажник. Ступенью выше комиссионера стоял председатель Казенной палаты. Выше их обоих заноситься в своей амбиции имел право лишь винный откупщик: начав от звания целовальника, со сплеска, он мог в продолжении небольшого числа лет приобрести в свое владение несколько тысяч душ, а там недалеко до предводителя и до камергерского ключа! Благодаря благому Провидению, русские души отошли теперь из-под крепости на волю Господню; их нельзя более ни проживать, ни наживать; откупщицкое дело, питавшееся рассиропливанием и приправой вина разными невинными специями, от которых у народа скребло в горле и жгло кишки, кануло в омут, из которого оно выросло; полки потеряли значение аренд; и комиссионерство перестало быть золотым прииском, на котором комиссионеры вымывали для себя золото из всякого казенного двора, попадавшего к ним в когти.

Воспитанницы ставропольского пансиона благородных девиц были молоды, свежи, поэтому чрезвычайно привлекательны в наших глазах; для сравнения с ними мы не имели перед собой ни одного сколько-нибудь сносного женского существа. Ходил говор, будто с нами едет еще армянка замечательной красоты, но никому не удалось поверить справедливость этого слуха. Красавица скрывалась постоянно в тарантасе, завешенном со всех сторон, даже ночевала в нем; а ее супруг, тифлисский торговец, одаренный физиономией леопарда, с мотавшимся на поясе кинжалом необычайной величины, бросал такие свирепые взгляды на любопытствовавших поближе разглядеть внутренность заветного экипажа, что у них холод пробежал по жилам, и они в смущении и страхе от него удалялись. Затем скипетр красоты оставался в бесспорном обладании двух девиц, и мы, сколько нас тут ни было на лицо: комиссионер, оба чиновника и человека три офицеров из разных кавказских полков, записались к ним в поклонники на все время нашего общего странствования. Барышни, пользуясь своею властью над нами, жеманились, восторгались, обижались, гневались и умиловивлялись поочередно, все с видом достоинства, подобавшего девицам хорошего провинциального тона. Кавалеры отличались со своей стороны, каждый по силе преимуществ, которые ему приписывало собственное самолюбие. Комиссионер, в сознании своего социального значения, позволявшего ему церемониться менее других, говорил девицам комплименты, направленные «не в бровь, а прямо в глаз». Петербургские чиновники, жмуря глаза, цедили сквозь зубы повествования об удивительных эпизодах своей столичной жизни: как они с министрами играли в вист и в бостон; как тайком передавались им раздушенные записочки от разных очаровательных графинь; при этом давалось понять, что принужденные, по причине совершенно исключительных обстоятельств, расстаться на время с прелестями столичной жизни, они располагают схоронить себя на Кавказе ненадолго, пока... Значительное наклонение головы довершало фразу. Кавказские офицеры, не облекаясь в покров таинственности, в который так величественно драпировались петербургские чиновники, занимали барышень не совсем деликатными, но зато очень правдивыми рассказами о своих похождениях за Кубанью и за Тереком. После этого мне, не водившемуся с министрами, не получавшему записочек от графинь и не бывшему еще ни за Тереком, ни за Кубанью, оставалось только болтать разный вздор — дело, которому я предался с самою похвальною ревностью.

В таком приятном препровождении времени, пространство, отделявшее нас от Владикавказа, исчезало неприметным образом. На ночь мы располагались возле укрепления вагенбургом,

который окружали двойною цепью караулов и секретов. Офицерам и чиновникам отводили квартиры в форштате, у женатых солдат; народ нечиновный бивуакировал вокруг пылающих костров. Всю ночь заунывное: «слушай!» раздавалось около крепости и бивуака, напоминая, что мы находимся в неприязненной стороне. Если бы не окружавшие нас военные предосторожности и не открытые «летучки», которые по несколько раз в сутки неслись из Владикавказа навстречу к командиру оказии, потом, от поста до поста, летели дальше на Линию, елико терпели ноги замученных казачьих лошадей, мы, пожалуй, готовы были бы совсем забыть о Кази-Мулле и его чеченцах. В Ардонском укреплении прибавили к нашему конвою взвод пехоты и второе орудие. Из Ардона мы выступили раньше обыкновенного и к полудню пришли бы во Владикавказ, если бы не спустился такой густой туман, что в десяти шагах нельзя было разглядеть человека. Это принудило нашего штабс-капитана остановиться, не доходя до половины дороги и выслать сильные разъезды вперед и к стороне Терека. Пока мы ожидали возвращения казаков, прискакал осетинский старшина Магомет-Кази, с пятьюдесятью всадниками, задержать оказию от имени владикавказского коменданта, доколе не прибудет батальон, высланный из крепости к нам навстречу. Кази-Мулла накануне явился со своим скопищем перед Назраном, в двадцати пяти верстах от Владикавказа, — и кто мог ручаться, что он, пользуясь туманом, не попытается разбить оказию. Вследствие этого известия мы построились в каре, два часа битых прождали прихода обещанного батальона, и потом втихомолку, без барабанного боя двинулась по дороге. Одни татарские арбы скрипели на всю окрестность. Сиплый визг, вырывавшийся из-под поворотных осей, к которым колеса прикреплены наглухо, слышался издалека. Татары не имеют привычки смазывать оси и оправдывают это скриполюбивое обыкновение тем, что они честные люди и не боятся, подобно вора, если будет слышно когда они едут. Под покровительством непроницаемого тумана мы перешли по мосту через Терек, вошли во владикавказское предместье и построили вагенбург на площади перед крепостными воротами, через которые пропустили одних путешественников с их поклажей. Экипажам не было места внутри крепости, загроможденной стариками, женщинами, детьми, товаром и всяким имуществом, свезенными в нее из обоих форштатов. Петербургских чиновников, одного офицера, моего родственника, и меня, поместили в каком-то чулане возле комендантской канцелярии, где мы расположились на своих чемоданах вместо постели, имея на всю братию один деревянный табурет, получивший, по единогласному приговору, назначение исправлять должность чайного стола. Управляющий с дочерьми нашел приют у самого коменданта, а комиссионера мы потеряли из виду и не заботились о нем, зная, что для особы его звания всегда готово теплое местечко там, где существуют склады провианта, которыми Владикавказ был вовсе не беден.

Нельзя оставить без пояснения причину тревоги, возмущившей созерцательное житие владикавказцев и принудившей нас не только поместиться в чуланчике сам пят, но и прожить четверо суток в таком стесненном положении.

Владикавказ, главный стратегический пункт в центре Кавказской Линии, оборонявший Военно-Грузинскую дорогу при выходе ее из ущелья Терека на Кабардинскую равнину, долженствовавший удерживать в повиновении Большую и Малую Кабарды, осетин и мелкие кистинские общества, занимавшие северную покатость хребта, слыл повсюду сильною крепостью, но в сущности не оправдывал своей репутации. Земляные насыпи по нужде только могли противиться горцам, не имевшим тогда еще артиллерии и действовавшим без общей связи, после

решительного удара нанесенного Ермоловым Большой Кабарде в 1821 году. Но тут вмешался в наши кавказские дела новый фактор. Гимринский уроженец, Кази-Мегмет явился в 1830 году проповедником мусульманского учения, на котором Шамиль основал в последствии свое продолжительное могущество, взволновал Дагестан и Чечню и с помощью мюридов быстро стал распространять свое владычество над горцами левого фланга Кавказской линии. Несколько удачных набегов на нашу границу, в особенности, разграбление Кизляра, доставили ему высокое значение в глазах вояк, преимущественно бьющихся из-за добычи; горцы признали его «шихом» — святым, «имамом» — пророком, и под его предводительством готовы были, не жалея головы, идти на «казват» — священную войну против гяуров. Все это не имело бы особой важности, если бы в то же время Кази-Мегмет, равнявшийся умом и предприимчивостью своему преемнику Шамилю, не принялся всеми способами направлять горцев к одной общей цели, заключавшейся в единодушном сопротивлении русской силе. Этого не ожидали и к этому не были приготовлены.

Владикавказская крепость, окруженная двумя форштатами, вмещавшими множество лавок, наполненных товаром, и обширными фруктовыми садами, все более и более стеснявшими ее оборону, уже лет десять не находилась в положении опасаться со стороны горцев открытого нападения. Мелкие происшествия, убийства, грабеж и кража людей повторялись ежедневно под самыми стенами крепости; но подобные безделицы никого не смущали в то время на Кавказе. Однажды два чеченца подкараулили в саду самого коменданта, генерала Поца, и унесли в горы, посадив на палки, так как старик, страдавший подагрой и всегда обутый в высокие валеные сапоги, за что горцами был прозван генерал «цевака» — войлочный сапог, не мог бежать с потребною скоростью. Коменданта принуждены были выкупить у воров. Для предупреждения подобных случаев разъезды посылались очень часто, на ночь расставлялась вдоль бруствера цепь, и в садах помещали секреты, а о крепости никто не помышлял: бруствер исподволь осыпался в ров, платформы под орудиями оседали и дружно гнили вместе с лафетами; гарнизона оставалось не более одного линейного батальона и сотни донских казаков, да и из них половина людей находилась в командировке. Поэтому нечего удивляться, если слух о прибытии в Чечню Кази-Муллы и о замыслах его на Военно-Грузинскую дорогу смутил некоторым образом владикавказское начальство, которое даже очень встревожилось, когда он с тремя тысячами чеченцев обложил Назрановское укрепление, отправил сильную партию лезгин подчинить своей власти галашевцев, галгаевцев, кистинцев и хевсурцев, и в то же время послал тайных переговорщиков к кабардинцам, с поручением убедить их присоединиться к восстанию.

По первому слуху, владикавказский гарнизон был усилен одним батальоном из Грузии. Крепость принялись чинить напоследях, и не малого труда стоило привести в порядок тяжелую артиллерию, давно брошенную на произвол судьбы. Из форштатов переселили в крепостную ограду детей и женщин с имуществом, какое они успели захватить на скорую руку, а мужчин, способных носить оружие, заставили оборонять оставленные дома и сады вместе с осетинскими и кабардинскими милиционерами, на преданность которых полагались слишком мало, чтобы поручить им, наравне с солдатами, защиту самой крепости. Осетинские и ингушевские семейства, укрывавшиеся во Владикавказе из окрестных селений, помещали в вагенбурге, построенном из повозок нашей оказии. В крепость вводили, однако, детей и жен людей имевших вес в народе, чтобы помощью этого залога уберечь их от измены.

Кази-Мегмет, как выше было упомянуто, обложил Назрановское укрепление накануне нашего прихода во Владикавказ; поэтому мы попали в самый разгар тревоги. Слух и зрение всех Владикавказцев были обращены к стороне осажденного русского укрепления, обороняемого двумя слабыми ротами; каждый думал только об одном — об участии их и о последствиях, если им не удастся устоять против неприятеля. С первой удачей Кази-Мегмета под Назраном, все бы поднялось вокруг Владикавказа, сообщение с Грузией было бы прервано, и положение самой крепости сделалось бы весьма затруднительным. Из Назрана не имели никакого уведомления; неприятель прервал всякое сообщение с ним. Комендант, офицеры и даже солдаты, свободные от службы, не сходили с бруствера, напрасно стараясь что-нибудь разглядеть или расслышать. Туман не позволял видеть далее гласиса, а до слуха долетал лишь слабый гул отдаленных пушечных выстрелов — и ничего не объяснял. Осетины и казаки, посылаемые в разъезд, возвращались без положительных известий; однажды они столкнулись в упор с сильною неприятельскою партией и, вместо новостей, привезли обратно несколько тел своих убитых товарищей. Тотчас по приезде, Александр Лаврентьевич и я отправились к коменданту явиться, как следовало по порядку службы, и предложить ему наши услуги в случае появления Кази-Муллы перед крепостью. Узнав, что мы оба принадлежим к тифлисскому штабу, он не решился взять на себя ответственность нами распорядиться, но просил нас в минуту тревоги находиться при нем, а покамест оглядеться во Владикавказе и познакомиться поближе с мерами, которые он принимает к отражению неприятеля. Пользуясь этим разрешением, я обошел сады, форштаты и излазил все закоулки крепости, над которою работали днем и ночью, раскладывая на гласисе огромные костры, во-первых, для освещения работ, во-вторых, на случай неожиданного ночного нападения. Совершенный новичок на Кавказе, я любопытствовал познакомиться со всеми подробностями военных привычек страны, в которой мне приходилось служить. Против комендантских распоряжений нечего было сказать; они соответствовали обстоятельствам, и только недостаток рук и времени не допускали приготовиться как следует. Однако, можно было спросить: почему же до того времени жили спустя рукава, предаваясь гордому убеждению, что никто не посмеет напасть на Владикавказ?

На другой день пушечные выстрелы продолжали раздаваться; на третий день сильная канонада послышалась с рассветом, потом повторилась часу во втором пополудни, а к вечеру совершенно умолкла. Все испугались: не взято ли укрепление? Комендант послал немедленно значительную партию осетин к стороне Назрана, и в то же время, за большие деньги, отправил тайком двух лазутчиков разведать в чем дело. До свету еще лазутчики прискакали обратно с радостною вестью: укрепление цело, русские роты отбили два приступа, после второго штурма назрановские ингуши бросились неожиданно на бегущих чеченцев и принялись их добивать, перед вечером Кази-Мулла ушел за Сунжу; поэтому и перестали палить из пушек.

В то же утро все в крепости зашевелилось, обрадованные жители стали перебираться в свои покинутые дома, нас отпустили в дорогу. До Дарьяла нам следовало еще, против обыкновения, ехать шагом, в сопровождении пехотного конвоя, потому что галгаевцы и кистинцы отказали в повиновении. Хевсурцы, напротив того, со стыдом прогнали от себя Кази-Мегметовых лезгин.

В день нашего отъезда туман, пятеро суток застилавший окрестности Владикавказа, превратился в проливной дождь на равнине, а в горах за Балтой в мокрый снег, хлеставший нам в глаза с ослепляющею силой. Мокрые, забрызганные грязью, полузамерзшие, избитые толчками телеги, судорожно прыгавшей через камни, устилавшие всю дорогу, мы были мало расположены удивляться поразительной картине горного величия, постепенно развивавшейся перед нашими глазами. В Ларсе, двадцать пять верст за Владикавказом, нас застигла темная ночь; продолжать дорогу было невозможно; мы переночевали в станционной сакле сидя, потому что некуда было лечь. На другое утро та же дурная погода, налево, направо, впереди те же пасмурные скалы, все выше и выше воздымавшиеся к облакам, суживая дорогу и становясь поперек извилистого ущелья. Иногда, казалось, мы приближались к высокой зубчатой стене, далее которой нет пути; неожиданный поворот, и впереди мелькнувший уголок серого неба снова указывал направление, в котором дорога извивалась над Терekom, кипевшим глубоко под ногами непрерывным, бешеным, оглушающим водопадом. Перед Дарьялом ущелье приняло характер расселины, какой, сколько мне известно, нигде кроме Кавказа не существует в таких гигантских размерах. Отвесные гранитные скалы, громоздящиеся одна над другою, вышиной в несколько тысяч футов, висели огромными выступами у нас над головами. Среди лета подножие их освещается солнцем не более трех или четырех часов; все остальное время оно покоится в тени. Под напором непреодолимой внутренней силы поднялась земная кора; гранитный пояс Кавказских гор, простирающийся от одного моря до другого, не устоял, раздвоился, и с высоты Казбека воды хлынули в отверстие, ворочая камни и отрывая скалы. В продолжение многих тысяч веков неукротимая быстрота размывала узкую теснину; наконец Терек улегся в свое русло; над его крутым берегом образовалась стезя, и для человека раскрылись Дарьяльские ворота. С того времени много народных громад проходили через эти ворота, все они шли на гибель себе и своих собратий по человечеству; одни русские прошли здесь не с мыслию истребления, не за добычей, а на защиту христианского царства, истекавшего кровью под ударами своих лютых мусульманских соседей.

Около моста через Терек — дорога переходила в этом месте с левого на правый берег реки — стоял небольшой каменный редут, вмещавший всего два строения: казарму на одну роту и офицерский флигель. Часовой нас остановил; следовало прописать подорожные листы, в удостоверение дня и часа, в который мы благополучно проехали через пограничную черту Линии с Закавказьем. Отсюда начинался административный район Грузии. Конвойные солдаты пошли в казарму отдохнуть, а мы поехали рысцой по направлению к Казбекской почтовой станции... Направо от дороги возвышался Казбек. Вершина великана хоронилась в густых облаках, открывавших взгляду один нижний край снежного покрова девственной белизны, опускающегося с крутых боков на острые хребты из порфира и гранита, подпирающие его подножие. И того, что было видно, достаточно было для внушения нам полного уважения к его исполинской вышине.

Деревня, одного имени с горой, как и проживавшие в ней грузинские князья Казбеки, лежала на почтовой дороге и, подобно всем горным селениям, состояла из сборища крытых шифером, бедных каменных сакель самой первобытной постройки. Одна новая, небольшая церковь из разноцветного камня придавала селению издали вид обитаемости, исчезающий при въезде в единственную тесную улицу, образованную грудой маленьких жилищ одного цвета с каменистою

почвой и с окрестными скалами. Пока перепрягали лошадей, я отправился в духан, в надежде отыскать что-либо съестное — и нашел одну водку да балык, от которых принужден был отказаться, питая к ним сильное отвращение. Неудачный поиск за жизненными припасами доставил мне, однако, увидеть такой феноменальный нос, какой самое пылкое воображение не может себе представить принадлежащим лицу живого человека, а не маске. Владелец его, князь Казбек, дядя того поручика Казбека, который во время последующей экспедиции командовал в нашем отряде осетинскими милиционерами, сделался по такому обстоятельству человеком известным на всем Кавказе. Эта нежеланная слава, сказывали мне, была для него так тягостна, что он никуда не выезжал из своей деревни, прятался дома, и чужой мог видеть его только случайно. Нос был так непомерно велик, что он даже в Грузии, богатой носами почтенных размеров, слыл чудовищным явлением. Два года спустя похоронили бедного князя, и мало помалу на Кавказе изгладилась память о дивном носе, составлявшем главное несчастье в его жизни.

От Казбека до Коби, деревушки у подошвы Крестовой горы, в которой находилась почтовая станция — всего пятнадцать верст — мы ехали часа четыре, с трудом пробираясь на колесах через глубокий, свежавывающий снег. На этом пространстве горы будто сложились в час гнева Божия, человеку на страх, рисуя каменными горами безотрадную картину предвечного хаоса. Дыхание природы остановилось, жизнь исчезла: нигде ни зелени, ни дерева, ни куста, ни живой твари; везде, куда ни обратишь глаза, один камень, одни остроконечные скалы безжизненного, темно-бурого цвета. Нигде после того я не встречал в Кавказских горах места, наводившего такую глубокую тоску, как окрестности Коби. Под впечатлением овладевшего нами нерадостного чувства мы рассчитывали провести в этой скучной глуши только ночь и с рассветом переправиться через Крестовую гору по снегу, покрывающему ее с октября до июня, а иногда и до июля. Горько ошиблись мы в своем расчете: накануне нашего приезда на горе разыгралась непогода, около Байдары свалился снежный завал и засыпал ехавших из Грузии с почтой трех почтарей, двух казаков и семь лошадей. Жители, собранные по приказанию кобинского постового начальника, отрывали их тела, и нам было объявлено наотрез, что, пока снег не будет расчищен и погода на горе не переменится, нечего и думать о переезде в Грузию.

Казенные заезжие дома не были еще достроены ни в Ларсе, ни в Казбеке, ни в Коби; поэтому нам довелось поселиться в грязной, дымной и холодной сакле и, скрепя сердце, прожить в ней четверо суток, пока разгребали завал. Укутанные в шубы, обвязанные платками, пятеро нас, злосчастных странников, Александр Лаврентьевич, оба петербургские чиновника, я да военный доктор из Владикавказа, теснились около очага, на котором вспыхивал с треском и потом мгновенно потухал хворост, доставленный по приказанию постового начальника, имевшего обязанность снабжать проезжих топливом от казны, съестными припасами с рынка, за умеренную цену, и заботиться о целостности их, не позволяя в метель или когда по известным приметам предвиделось падение завала, ехать через гору. Грешно было бы винить в нашей нужде бедного кобинского труженика, поручика линейного батальона, терпевшего год из году то, что мы находили трудным перенести в течение нескольких дней. В Коби существовала бедность во всем и преимущественно в дровах; гудашаурцы издавала приносили на плечах вязанки тощего хвороста, который им приходилось набирать по расселинам смежных, совершенно безлесных гор. Бога следовало благодарить, когда, через посредство того же воинского начальника, нам удалось добыть пару кур, десятка три яиц и несколько фунтов пшеничной муки, причем нас предупредили

бережливо расходовать припасы, потому что жители не приходят на базар из-за глубокого снега, и мы ничего не получим, сколько бы денег ни сулили. Что, однако, делать с этим богатством? Я не взял человека в дорогу, предпочитая выбрать денщика из кавказских служивых, а слуга моего родственника был городской лакей, ловкий драть платье щеткой и курить барский табак, но совершенно неспособный к кухонному делу. Петербургские чиновники были знакомы с приемами хорошего тона и с министерским порядком, от кулинарных же познаний отказались или просто считали ниже своего чиновничьего достоинства марать руки об очаг и сковороду. Доктор, кавказец, к тому же практичный малороссиянин, выручил нас из затруднения, объявив, что сумеет совладать с курами, с мукой и яйцами, засучил рукава и, не жеманясь, принялся за дело. Питая убеждение, что и мои руки созданы не для одного сбережения их белизны, и что сажа, сколько ни чернит на первых порах, однако менее липнет к человеку, чем иное невидное пятнышко, я не отказался поступить к доктору в помощники. Без промешки явились на столе суп, яичница и галушки, чего было очень достаточно для поддержки нашего ленивого прозябания. С чубуком в руке, слушая весьма интересные для меня рассказы доктора о его кавказском житье-бытье, я скучал в Коби менее, чем показалось с первого раза; но все-таки чрезвычайно обрадовался, когда на пятые сутки нас разбудили до света, объявив, что казачьи лошади оседланы и надо спешить в дорогу.

Весной лучшее время для переезда через Крестовую гору, названную этим именем по кресту, воздвигнутому на перевале, — есть раннее утро, пока солнце не разогрело еще снега. Завалы обрушиваются обыкновенно после полудня и под вечер. Не мешкая, мы сели на лошадей, приказали навьючить вещи и один за другим, имея впереди и сзади по два казака, поехали в гору. За нами звенел колокольчик; это были запряженные гужом салазки с почтовыми тюками. Почти до креста проехали мы под ясным, прозрачным небом, постепенно проникавшимся из-за гор светом восходящего солнца; потом, почти мгновенно, его заволокло сереньким туманом, дунул резкий ветер, снег закрутился, наполнил воздух, и дорога, окрестные вершины, ехавшие впереди казаки скрылись в вихре метели. По снегу, в сажень и более глубины, пролегла узкая дорога в одну лошадь; по ней можно было проехать в салазках, употреблявшихся между Коби и Кайшауром, но ни в каком другом экипаже. Шаг в сторону, и лошадь тонула по уши в снегу. Наше положение становилось более чем неприятным. Назад — слишком далеко; на горе переждать метель — невозможно, пожалуй, заметет; вперед ехать — не видно дороги. Не прошло десяти минут, и передовые казаки, потеряв направление, стали как вкопанные. Тогда ямщик с почтой выпросился вперед; с ним бежала мохнатая, невидная собачонка. «Завал может нас задавить, коли Богу угодно, — говорил ямщик, — а с дороги не собьемся; мы с Волчком третий год гоняем почту через Крестовую гору, Волчок и в метель дорогу знает». Ямщика пропустили вперед, он свистнул, и Волчок, тявкая, побежал перед санями, за которыми потянулась вся ватага разнокалиберных ездоков. Благодаря даровитости разумного Волчка, мы поднялись на Крестовую гору и проехали, не сбиваясь с пути ни на шаг, вдоль страшной пропасти, над которою дорога извивается около Гуд-горы. За этим опасным местом она делает крутой поворот и начинает спускаться к Кайшауру. Сто шагов ниже снег перестал порошить в глаза, ветер затих, на небе проглянули темно-голубые просветы, из-за последних клубов тумана блеснуло солнце, ясное солнце Грузии, и далеко под нами открылась живописная долина Арагвы, облеченная во всю красу весеннего убора южной природы. Река извивалась серебряною лентой между волнистыми грядами гор, пестревших лесами, деревнями, башнями грузинских помещичьих домов, садами и полями, на которых ярко-зеленые всходы радовали обещанием богатой жатвы. С каждым шагом воздух становился теплее, душнее; еще ниже, и звонкие голоса птичек, распевавших на все

лады, напомнили нам, что мы находимся среди южной весны, исполненной животворной неги, которую не суждено вдыхать у себя жителю строгого севера. Кто не проезжал по Военно-Грузинской дороге весной, осенью и даже зимой, не может себе представить быстрого перехода от тепла к холоду, от зимнего, удручающего однообразия к весенней роскоши, ожидающей путника на повороте между Гуд-горой и Кайшауром. В продолжение моей двенадцатилетней службы на Кавказе я проезжал по этой дороге восемнадцать раз, во всякое время года и во всякую погоду. Нет места на ней, которое бы не ознаменовалось для меня каким-нибудь особенным воспоминанием. Всего припомнить нельзя, столько годов прошло с тех пор, да и не обо всем стоит вспоминать. Довольно замечательное путешествие я совершил по Военно-Грузинской дороге с женой, в 1844 году, когда казенные заезжие дома, которых фундамент только вырастал из земли в мой первый проезд, уже были отстроены, что, впрочем, не мешало нам голодать и мерзнуть по-прежнему.

В 1844 году готовилась решительная экспедиция против Шамиля, для чего был придвинут на Кавказ и 5-й пехотный корпус под командой генерала Лидерса. Я был женат не более полугода. Мне разрешили, на всякий случай, перевести сперва жену из Ставрополя в Тифлис, в дом к дяде, и освободившись от этой заботы, приехать после того в отряд. Было весеннее время, и в карете перебраться через Крестовую гору нелегкая задача. Командующий войсками на Линии, В. О. Гурко, при котором я имел счастье состоять, упростил ее, приказав заготовить в Коби для моего проезда волов и рабочий народ. До Казбека мы доехали скоро и без всякого приключения. Переночевав в теплой чистенькой комнатке заезжего дома, мы отправились в дорогу около десяти часов утра; отсюда начался для нас ряд бедствий, забавных, когда вспомнишь, до нельзя бесивших в минуту их неожиданной встречи. На второй версте от Казбека начинался снег. К шести сильным лошадям, запряженным в небольшую двухместную карету оказалось необходимым добавить еще пару лошадей. Посланного за ними конвойного казака мы прождали более часа, потом двинулись медленным шагом; колеса все более и более врезывались в глубокий снег; карета колыхалась во все стороны; шедшие возле ямщики и казаки подпирали ее то плечом, то рычагом, едва успевая удерживать ее на весу. На восьмой версте она увязла по ступицы; сделали отчаянную попытку ее вытащить, и опрокинули набок. Поднять не достало силы у людей; я отправил двух казаков в Коби за волами и за народом. Вокруг разливалось море растопленного снега, в карете также нельзя было оставаться в лежачем положении. Что тут делать?

Заметив шагах в двадцати от дороги широкий камень, не залитый водой, мы добрались до него, уселись и принялись ожидать казаков, посланных на станцию, которым я приказал привести также почтовую телегу для отвоза жены и горничной. Час проходил за часом, солнце стало склоняться к горизонту, надоело ожидать сидя на камне, как на острове, и мы решились идти в Коби пешком, по колено в снегу, в брод через Байдару, до пояса в воде. Человек с казаком остались при экипаже. Надо заметить, что погода стояла отличная, солнце невыносимо пекло голову и плечи, а снег и вода студили ноги; по докторскому сказанию, это не совсем здорово, однако мы хорошо выдержали, кроме девушки, заболевшей горячкой вследствие нашего пешеходного странствия. За час перед закатом солнца мы приплелись в Коби, встретив в полуверсте телегу и людей шедших выручать экипаж. В казенном доме ожидали нас большие, высокие комнаты, холодные, бедные мебелью, грязные, и, в довершение беды, ничего чем бы можно было согреться, ни чаю, ни кофею, ни вина, а коробка со съестными припасами осталась в карете. Жена, освободившись от

мокрого платья, укутанная шалью, сидела на досках безтюфячной и к тому же единственной кровати, горничная лежала на грязном полу, в припадке лихорадочного бреда. Около огромной печи, распространявшей по комнате не тепло, а зловонный чад, были развешены мокрые принадлежности женского одеяния. Сбросив все что на мне было мокрого и поместившись возле окна, драпированный в бурку, я задал себе трудную задачу логическим выводом определить, почему в Казбеги казенный дом устроен так хорошо, так удобно, а в Коби, где, кажется, было бы нужнее, так нестерпимо дурно.

Мои размышления были прерваны неожиданным стуком в дверь.

— Кто там?

Нет ответа; стук усилился.

Сильно раздосадованный, я бросился к двери, растворил немного и выглянул.

За дверью стоял постовой начальник, при шарфе. Увидав щель, он просунул ногу и всю тяжестью своего туловища налег на дверь, усиливаясь проникнуть в комнату.

Я уперся.

— Что прикажете?

— Имею честь...

Должность, которую я занимал при командующем войсками на Линии, и заботливость местных властей облегчить мне переезд через горы в тяжелом экипаже, произвели свое действие. Военский начальник счел полезным мне явиться. Я не дал ему договорить.

— Тысячу раз прошу извинить, господин поручик. Как я есмь, я не смею вас принять. Извините!

Я нажал плечом, дверь подалась, и крючок упал в петлю. Через четверть часа тот же стук, та же сцена.

— Что угодно?

— Прикажете поставить часового, когда привезут экипаж? — и поручик усиливался стать твердою ногой внутри комнаты.

Часового не следует; распорядитесь поставить караульщика без ружья, — и дверь закрылась.

«Наконец избавился от поручика, — подумал я, — в третий раз не попробует». Расчет был сделан без хозяина.

Не прошло десяти минут, опять стучат в дверь.

Ожидая известий об экипаже и отнюдь не предполагая снова увидеть моего мучителя, я отпер, не упуская, однако, из пальцев дверной ручки.

В щель проник довольно хриплый голос поручика.

— Какой прикажете отзыв?..

— Чад, угар, голод, холод! Что хотите, только оставьте меня в покое! — крикнул я и захлопнул дверь.

После того поручик более не являлся.

Перед рассветом приволокли экипаж. Жену с горничной перевезли на одних, каретные сундуки на других салазках; я предпочел ехать верхом. В Квишете, четыре версты ниже Кайшаура, мы имели время отдохнуть двое суток у доброго и гостеприимного князя Авалова, начальника горских народов, пока перетаскивали карету с помощью восьми пар волов и человек пятидесяти гудашаурцев, вооруженных шестами, веревками, лопатами и кирками, которым я заплатил за это дело более ста рублей серебром.

Так случилось со мной в 1844 году, двенадцать лет спустя после моего первого переезда через горы. Тогда мой багаж был невелик, почтовая телега приняла его без труда, и мы поскакали, не останавливаясь, в Тифлис. Беспрерывно менявшиеся виды, один лучше другого, мелькали перед нами под разным освещением, солнце грело, и весело мчался я навстречу моей неведомой будущности, в ожидании от нее всякого добра: в то время я был так расположен верить во все хорошее. Незаметно исчезало расстояние. Пассанаур, Аннанур, Душет, Гатискар, развалины Мцхета, древней столицы Грузии, уцелевший в нем собор, римский мост через Куру, пролетели подобно быстро меняющимся декорациям, и в одно прекрасное утро издали обрисовались перед нами тифлиские горы, старая крепость Метех, потом мы спустились в овраг речки Веры, поднялись и через четверть часа отобрали у нас подорожные на Гарцискарской заставе. Мы приехали в Тифлис.

III

Тифлиса, каков он теперь, я не знаю. В 1844 году я распростился с ним навсегда. Уже и тогда город, увеличенный порядочным числом домов европейской постройки, много утратил из оригинальности своего первобытного вида. В 1832 году Тифлис, не только по наружности, но и по характеру народной жизни, принадлежал к числу городов самородного азиатского типа, если не считать несколько зданий новой постройки и некоторые русские привычки и понятия, успевшие проникнуть в верхний слой грузинского общества. Народ оставался чем был при царях, город только начинал менять физиономию.

От Гарцискарской заставы, далеко выдвинутой в поле в ожидании будущих построек, до первой правильной улицы, начинавшейся за домом главноуправляющего, дорога извивалась по пустому месту, мимо обрывистого возвышения направо и оврагов, с левой стороны упиравшихся в берег Куры. Овраги были испещрены мазанками и домиками Солдатской слободки. Далее открывались приезжому, с одной стороны, съезд к Мадатовской площади, с другой — подъем к арсеналу и к Артиллерийской слободке, построенным у подошвы горы Св. Давида. Большой двухэтажный дом, снабженный рядом арок и колоннадой над ними во всю длину главного фронта, с боковым фасом, поднимавшимся в гору уступами, и обширным садом, давал начало настоящему городу. В стенах этого дома помещались все генералы, командовавшие на Кавказе, начиная с основателя его, князя Цицианова: Гудович, Тормасов, Паулучи, Ртищев, Ермолов, Паскевич, Розен, Головин, Нейдгарт, Воронцов, Ред, Муравьев, Барятинский, теперь Его Высочество Великий Князь Михаил Николаевич. Все они строили и пристраивали, меняли и охорашивали в нем так много, что и следов первой цициановской постройки нельзя приметить. Перед домом раскрывалась необстроенная площадка, на которой бывали скачки, народные праздники и фейерверки. За домом начиналась улица, выходившая на Эриванскую площадь — центр нового города; на ней красовались штаб, гимназия, полиция и домов пять новейшей архитектуры. Крутоберегая, широко размытая, водоточная рывтина прорезывала площадь во всю ее длину, от юга на север, после чего, поворачив на восток, по направлению к Куру, она пролегла вдоль подошвы старой крепостной стены, оборонявшей город с севера и с запада. С восточной стороны протекала Кура, а с юга возвышалась гора, на которой виднелись еще развалины верхней крепости, служившей цитаделью в прежние времена. Все что лежало по сю сторону стены было новой, русской

постройки. Через площадь, в левом углу, открывалась тесная и кривая улица, носившая название Армянского базара и упиравшаяся в мост через Куру. И действительно, вся улица представляла вид нескончаемого рынка: по обе стороны спланивались одна возле другой открытые лавки, в которых, как водится на Востоке, на глазах у прохожих шили платье и сапоги, чеканили серебро, опрашивали оружие, брили головы и бороды, варили плов, жарили баранину, ковали лошадей, пекли лаваш и чуреки, одним словом, занимались всеми промыслами, без которых не обходится городская жизнь. Дома на Армянском базаре, равно как и во всех прочих улицах старого города, были прежней, восточной постройки, в один, много в два этажа, с плоскими крышами, с невообразимым количеством окон и дверей и крытыми галереями для защиты от солнца. В городе существовала только одна еврейская гостиница Соломона, под вывеской льва терзающего змею огромной величины, с надписью: «Справедливая Россия». Все номера были заняты; поэтому нам не оставалось другого выбора, как, переехав за реку, отыскивать квартиру на Песках, у немецких колонистов.

Пять или шесть колонистских домов стояли на самом берегу реки, под Авлабарскою горой, на которой три большие казармы Ермоловской постройки господствовали над лабиринтом сакель и землянок, составлявших часть города, обитаемую рабочим народом. Немцы не содержали гостиницы, но имея дома, построенные на две половины, в одной помещались сами, а в другую пускали наемщиков поденно и понедельно, если кому было угодно, с полным продовольствием. Комнаты были у них светлее, чище, постели несравненно опрятнее, и незатейливый обед удобосваримее чем в «Справедливой России», пропитанной еврейским спекулятивным духом, в одинаковой мере посягавшим на обоняние и на кошелек посетителей. Соломон был человек не без хитрости, как доказывало придуманное им толкование несколько загадочного смысла вывески, под которою красовалось его заведение: лев представлял его самого, змея изображала конкурировавших с ним колонистов, а надпись «Справедливая Россия» выражала твердое убеждение в том, что русская публика, побуждаемая чувством свойственного ей беспристрастия, непременно отдаст предпочтение его гостинице, устроенной на благородную ногу, перед немецкими мужицкими домами. Вполне признавая солидарность, долженствовавшую существовать между Соломоном и каждым русским, умевшим оценить глубокое значение подобной фирмы, я не менее того очень обрадовался, отыскав на первое время покойный и дешевый приют у колониста. Германские колонисты были вызваны в Закавказский край А. П. Ермоловым. Он поселил их в окрестностях Тифлиса, на реке Иоре, и около Елисаветполя в колониях: Александердорф, Елизабетталь, Петерсдорф, Мариенфельд, Анненфельд, Геленендорф, и десятку семейств позволил устроить свои хозяйства на берегу Куры, возле самого города. Чтоб обеспечить свободное развитие колонизации, сверх обыкновенных податных льгот, он устранил влияние на выходцев местной администрации, допустил между ними общинное управление и главный надзор за порядком и за их безобидным существованием поручил особому комитету под председательством чиновника немецкого происхождения. В самое короткое время трудолюбивые швабы устроили свои хозяйства примерным образом, развели сады и огороды, и в Тифлисе, где до того времени население нуждалось в самых необходимых жизненных потребностях и за те предметы, которые можно было приобрести, платило дорогие деньги армянам, овладевшим всею торговлей, — стали получать из первых рук овощи, хорошую живность, молоко, масло, сливки, кроме того, картофель и сдобный белый хлеб, о которых, до прибытия их, за Кавказом знали по одному преданию. Один из немцев, Зальцман по имени, завел в Грузии первую пивоварню, и Алексей Петрович, чтобы поднять его заведение, ввел между служащими обычай ходить к нему пить пиво, вследствие чего Зальцман сделался очень

достаточным человеком. В 1832 году существовал в Тифлисе на весь город один русский булочник, не успевавший изготовлять сколько требовалось так называемого французского хлеба. Ближайшая колония пополняла чего не доставало. Каждое утро, с рассветом, молодые немки разносили по домам — хлебы и сливки, не брезгуя заходить и к нам, холостым людям. К сожалению, а вернее сказать, к их собственному счастью, все они без исключения были так дурны, что их появление никого не вводило в соблазн. Некрасивый народный костюм, которого ни они, ни братья их не хотели покидать и в чужой стороне, увеличивал натуральную безобразность неловкого склада. Несмотря на красоту грузинок, немцы постоянно отказывались жениться на них, что конечно повело бы к улучшению породы, имея в примете сохранить без примеси язык, обычаи и веру, вывезенные ими из своего прежнего отечества.

Следующий день прошел в разъездах по начальству. Надо было представиться коменданту, обер-квартирмейстеру, начальнику штаба и корпусному командиру. Комендант, гусарский полковник, Ф. С. Кочетов, был мне знаком в европейской Турции, где он, будучи старшим адъютантом в дежурстве главной армии, снабжал меня курьерскою экспедицией в Варну. Добрый старик не забыл этого мимолетного свидания, за что я ему душевно был благодарен, потому что кроме него во всей Грузии не знал живой души. А как приятно встретить между совершенно чужими людьми хоть одного знакомого! Владимир Дмитриевич Вольховский соединял в своем лице две должности, начальника штаба и обер-квартирмейстера потому, что барон фон дер-Ховен, получивший назначение заместить его в последнем из этих званий, еще не прибыл. Корпусом командовал барон Григорий Владимирович Розен, заменивший на Кавказе графа Паскевича-Эриванского, назначенного по окончании войны 1831 года наместником в Царство Польское.

Генерала Вольховского я застал в канцелярии генерального штаба, занимавшей длинную залу в первом этаже штабного дома, на Эриванской площади; в смежной зале помещалась чертежная; далее этих двух комнат генеральный штаб не распространялся. В конце залы сидел за письменным столом сухощавый, сутуловатый, среднего роста, черноволосый генерал, которого умные черные глаза вопросительно следили за мной, пока я к нему подходил; потом они быстро опустились: это была его всегдашняя привычка. Вольховский во всю жизнь не мог избавиться от врожденной застенчивости и резко смотрел в глаза только человеку, имевшему несчастье его рассердить.

По левую руку, вдоль стены, были расставлены писарские столы; по правую, возле окон, сидели, начальники двух отделений генерального штаба и третьего инженерного отделения, входившего в состав квартирмейстерской части потому, что в то время не было еще учреждено за Кавказом особое инженерное управление. Проходя мимо среднего стола, я заметил, что сидевший за ним артиллерийский офицер при виде моем поднялся, захватив какую-то бумагу, медленно пошел за мной и остановился позади меня. Генерал вежливо приподнялся.

— Вашему превосходительству имею честь явиться! и т. д.

В нескольких словах, тихим голосом и слегка краснея от застенчивости, Вольховский расспросил меня, где я прежде служил, какие поручения исполнял, бывал ли на съемке и занимался ли в канцелярии.

Получив отрицательный ответ на последний из своих вопросов, он пожелал узнать, где я воспитывался.

— В Царскосельском лицейском пансионе, выпущен в 1828 году.

— А! — произнес Вольховский, — так мы товарищи по заведению, хотя вы не застали нашего выпуска.

Он был выпущен вместе с Александром Пушкиным, Дельвигом, государственным канцлером, министром иностранных дел князем Горчаковым, Модестом Корфом и другими воспитанниками первого лицейского курса. Протянув мне руку, он прибавил:

— Надеюсь, мы сойдемся, и вы не откажетесь от должности, для которой я вас предназначаю, хотя ею никогда не занимались. В Царском Селе нас приготавливали к военной и к гражданской службе, поэтому вы должны уметь свободно писать по-русски...

Тут Вольховский сделал знак стоявшему за мной артиллеристу, который, улыбнувшись, с довольным видом пошел на свое место.

Несдержанное любопытство офицера, подошедшего с явным намерением подслушать как я стану являться, потом размен взглядов между ним и начальником штаба, меня несколько смутили; я не знал как мне понять эту сцену. В скором времени загадка объяснилась мне самым удовлетворительным образом.

На Кавказе существовал до тридцатых годов замечательный недостаток в офицерах генерального штаба, особенно в таких, которые, достаточно владея пером и русским языком, могли бы успешно заниматься письменными делами. По этой причине, с Персидской войны, вторым отделением генерального штаба заведовали артиллерийские офицеры, сперва Ушаков, исправлявший в последнюю войну должность дежурного генерала при князе М. Д. Горчакове, а потом капитан Пикалов, мой любопытный артиллерист, бывший помощником у Ушакова до, отъезда его в армию, действовавшую против поляков, вслед за графом Паскевичем. Пятилетние письменные занятия утомили Пикалова, не рассчитывавшего посвятить им всю жизнь; он желал продолжать

службу в строю, имея надежду в скором времени получить начальство над батареей, и поэтому настоятельно просил уволить его из корпусного штаба. Вольховский, имея две должности на руках, решительно не мог обойтись без Пикалова, убеждал его оставаться и, наконец, вынудил у него обещание не покинуть своего места, пока не будет прислан офицер, годный его заменить. После того прибывали в Тифлис один офицер за другим, но как на зло Пикалову, все нерусские, отличные служаки, способные на все, только не на письменное дело, как его понимал Вольховский. Из Петербурга получили уведомление о моем назначении. «Т..., опять немец», — подумал Пикалов, и надежда отбыть готовившуюся экспедицию возле орудия, а не за канцелярским столом, совсем было его покинула. Непреодолимое любопытство потянуло его послушать, каким произношением я заговорю, являясь начальнику штаба, когда, по семнадцатому номеру моих егерских эполет, ему удалось догадаться, кто я таков. После того, ближе познакомившись, он часто повторял со смехом, как при первом «имею честь», произнесенном не ломаным русским языком, у него камень свалился с плеч, а знак Вольховского так обрадовал, что он готов был обнять меня на месте. В то время находилось в Тифлисе несколько свободных офицеров генерального штаба, которых Вольховский прочил в разные другие должности, хотя между ними был офицер, совершенно способный занять любое канцелярское место. В последствии он был принужден, на основании штата установленного для генерального штаба при генерал-квартирмейстере А. Н. Нейдгардте, заместить меня этим офицером, обнаружившим по части письменной службы такие отличные качества, каких я вовсе не имел, и которые открыли ему широкую дорогу к высшим должностям. Вольховский, обладавший в других случаях даром оценивать людей довольно верно, о нем, кажется, имел слишком одностороннее понятие. Поступив гораздо позже под начальство этого офицера, я заметил в нем одну только слабость, если это позволено назвать слабостью. Хотя нерусский по происхождению и по воспитанию, он был твердо уверен в непреложности своего знания правил русской грамматики и очень любил поправлять слог, отыскивать грамматические ошибки и переставлять запятые. Не раз его рука посягала на слог нашего лучшего военного писателя, разумеется в одних служебных бумагах, а что касается до меня, то нечего и говорить. Мне он марал целые страницы, и ни одной запятой не оставлял на своем месте. Как я доволен, что наконец и для меня настала свобода, помимо начальнической цензуры, грешить против грамматики, отвечая за то перед одним корректором, да если проскользнет ошибка, перед снисходительной публикой, готовой прощать все прочее, не грешил бы я только против русского ума и чувства!

Вольховский имел свой собственный взгляд на вещи и подчас умел настоять на своей воле. Напрасно я отказывался, в сознании моей неопытности и действительно не чувствуя расположения к канцелярской службе, хотя очень хорошо понимал, что путем ее всего легче подняться в гору, то есть составить себе карьеру, сделавшись для начальника необходимым по привычке. Пикалову было приказано познакомить меня сначала с делами и потом сдать мне отделение формальным порядком. От этого зависел его отъезд в батарею, стоявшую в Гамборах, пятьдесят верст от Тифлиса. Для облегчения дела, Пикалов предложил мне переехать к нему на квартиру, где мы могли без потери времени работать поутру и вечером, и кроме того, для меня открывалась возможность в разговоре с ним скорее познакомиться со всеми обстоятельствами края и Кавказской войны. Охотно приняв его приглашение, я распростился с добрым колонистом и с юным спутником, Александром Лаврентьевичем, который, в свою очередь, переселился к отысканному им корпусному товарищу, служившему секретарем в гражданской канцелярии барона Розена.

Кстати скажу несколько, слов о бароне, которому Вольховский лично меня представил. Не могу ясно припомнить первое впечатление, которое он на меня произвел; во всяком случае, оно не заключало в себе ничего тревожного. Его наружность располагала к доверию, приемы были натуральны, без расчета импонировать подчиненному. Несколько выше среднего роста, плотный, седой, большоголовый, краснолицый, старик глядел своими голубыми глазами умно и добродушно. Говорил он протяжно, налегая на каждое слово, с особенною свойственною ему интонацией. На нем были: генерал-адъютантский сюртук без эполет, Георгиевский крест на шее и Владимирская лента под жилетом. Упоминаю об этих туалетных подробностях, потому что они составляли его всегдашнюю домашнюю форму, в которой его можно было видеть с раннего утра до поздней ночи. Никто не видал его в халате, который у него заменяла форменная шинель, да и то только во время похода.

Квартира Пикалова находилась на углу Армянского базара и Эриванской или, как ее чаще называли, Штабной площади, во втором этаже дома, принадлежавшего купцу армянину; входили в нее через небольшой двор, огороженный каменною стеной, по которой извивались виноградные лозы. Посреди двора стояло высокое гранатовое дерево, сплошь покрытое ярко-красным цветом. Уходя и возвращаясь домой, мы каждый раз любовались роскошным деревом, но еще охотнее наши взгляды останавливались на другом, живом украшении квартиры. Хозяйка, семнадцатилетняя красавица, какие между армянками встречаются только в эти годы, сидела с раннего утра за работой на открытой галерее, под надзором свекрови, не покидавшей ее, как водилось у армян, ни на одно мгновение. Старуха была необычайно уродлива, зла, бранчлива и ревновала каждый взгляд, который мы бросали на ее невестку; даже наш обыкновенный поклон приводил ее в тревожное состояние, а если бы нам вздумалось заговорить с молодою красавицей, то это произвело бы такую бурю, что хоть из дому беги. Предпочитая домашнее согласие такому мимолетному удовольствию, мы ни в каком случае не обращались к молодой хозяйке, а если была надобность, вели через денщика переговоры со старухой, за что она нас очень жаловала, и когда мы уходили, берегла нашу квартиру не хуже своей невестки. В этом отношении она заслуживала нашу полную благодарность, потому что ни одна дверь не запиралась на замок, и в комнатах не имелось ни одного шкафа, сундука или стола с ключом, хотя давно миновало то время, в которое, несмотря на процветание грабежа, у грузин домашнее воровство слыло делом несбыточным. Две принадлежавшие нам весьма небольшие комнаты, признаться, не отличались удобством, и напрасно стали бы в них отыскивать немецкую опрятность, зато жилось как в фонаре в стенах, продырявленных несметным числом отверстий. В одной угловой комнате, имевшей два света, существовали три двери и десять окон; камин, выдавшийся полусводом за стену, скорее способствовал нагреванию улицы чем комнатного пространства, а жильцам дымил только в глаза. К моему счастью, я переселился к Пикалову в теплую погоду и поэтому не имел случая испытать всю привлекательность зимних выгод его жилья, бесспорно принадлежавшего к числу лучших помещений в старом городе. В летнее время зарождалась в нем другая приятность. Дом входил в категорию ветхих строений, пользующихся лестным предпочтением со стороны скорпионов. Ночью они бегали по полу, пристукивая хвостом так резко, что я иногда просыпался, а поутру, принимаясь за дело, мне случалось нередко выбрасывать их из бумаг, в которые они залегали для дневного отдыха. Долго я не мог привыкнуть к сообществу этого неблагоприятного зверька, внушавшего мне непреодолимое отвращение, усиленное еще боязнью его зловредных качеств. Пикалов, кавказский старожил,

успел меня примирить, если не с наружностью, то по крайней мере с его нравом, доказав многими примерами сколько он безвреден. Скорпиону, как бывает и с людьми, составили совершенно незаслуженную репутацию злости: он жалит, повинуюсь чувству самосохранения, только в таком случае, когда сам считает себя в опасности, будучи придавлен или остановлен на бегу. Тогда он хвостом бьет через голову. В Грузии весьма не опасно для человека попасть под жало скорпиона. Ужаленное место, правда, горит и пухнет, но стоит только натереть его теплым деревянным маслом, и боль прекращается, не оставляя последствий. Народное поверье, будто для успеха операции следует употреблять масло с опущенным в него скорпионом, есть пустой предрассудок: оно помогает и без симпатической приправы.

Разделив квартиру, нам следовало разделить и расходы на наше общее продовольствие, потому что клуба, где бы можно было обедать, еще не существовало, а трактирная жизнь не имела ходу между офицерами; каждый старался, хорошо или дурно, заводить свое собственное хозяйство. Содержание обходилось невероятно дешево. В Грузии была в то время благодать для людей небогатых. С головы по четвертаку в сутки мы жили привольнее, чем десять лет спустя можно было жить за два целковых. Фазан стоил двугривенный, за «тунгу» (пять двойных бутылок) лучшего кахетинского вина платили сорок копеек, за фунт турецкого табаку — пятнадцать копеек серебром; а плова и фруктов добывали вдоволь за несколько медных грошей. При таких обстоятельствах мне было очень выгодно поселиться у товарища, имевшего готовое хозяйство и сверх того хорошего русского повара из отцовской деревни; но лучшую пользу я извлек для себя из самого Пикалова.

Во-первых, он был человек отменной души, умен, скромен и уживчив, значит, редкий комнатный товарищ; во-вторых, он узнал основательно край и людей. Так как он более пяти лет занимался в диспозиционном отделении генерального штаба, то не было дела, которое бы не проходило через его руки, и он, обладая необыкновенною памятью, служил живою справкой во всех бывалых случаях, которые твердо помнил. По этой причине Вольховский им очень дорожил и не раз упрашивал его остаться на своем месте; но он действительно не мог продолжать работы, совершенно истощившие его здоровье. Два года спустя мой бедный приятель помер на Линии от грудной болезни, развившейся после раны, которую он получил во время Ичкерийской экспедиции 1832 года, о чем расскажу в своем месте. Заменить его было нелегко, особенно для меня, новичка на Кавказе и совершенно неопытного в служебном письмоводстве, потому что в предыдущие кампании я исправлял одни полевые обязанности офицера генерального штаба. Приметив однако, что с Вольховским, мягким и вежливым в обращении с подчиненными, снисходительным к увлечениям молодости, но весьма взыскательным в делах чести и существенной службы, надо держать себя чрезвычайно осторожно, да и — сам не желая на первых же порах оказаться нерадивым по службе, я принялся прилежно расспрашивать Пикалова обо всем, просматривать с ним дела и под его руководством знакомиться с порядком и с формой военного письмоводства. Теперь, когда служебная переписка, благодаря воззрению военного министра, введена наконец в рамку настоящего здравого смысла, трудно вообразить, как хитро была сплетена ее прежняя фразеология, какие тонкие оттенки следовало соблюдать в сношениях с равными, с зависимыми и независимыми ведомствами, с младшими, высокими и высшими лицами, и какие разнообразные формы были установлены на основании этих отношений, для вступления, изложения и заключения в каждой бумаге. От беспрестанного повторения титулов и

от выражений преданности и подчиненности рябило в глазах; настоящий смысл дела утонул в потоке исковерканных фраз. Помню, как для приготовления доклада приходилось прочитывать нескончаемые донесения, сущность которых пояснялась тремя или четырьмя подчеркнутыми словами; но выборка этих слов требовала немалого труда и самого напряженного внимания. Сколько тут по пустому терялось бумаги, чернил и времени! Способности правильно понимать дело и ясно излагать свои мысли было недостаточно для совладания с тогдашним письмоводством; легче всего оно одолевалось форменным педантизмом. У Пикалова хранилось еще в свежей памяти, как однажды граф Паскевич был приведен в страшный гнев донесением, попавшим в его руки прежде, чем оно успело пройти через цензуру привычного докладчика, который бы с первого взгляда увидал, как его следует читать и понимать. Расскажу как это было.

Ахалцих в стратегическом отношении бесспорно занимал первое место между крепостями, завоеванными в азиатской Турции нашими войсками в удачную кампанию 1828 года. Несмотря на значение этой крепости, обстоятельства не позволили отделить более 1.500 человек для ее обороны, когда половина действующего корпуса вернулась в Грузию на зимовку. Это не покажется удивительным, ежели припомним, что князь Василий Осипович Бебутов, оставленный защищать Ахалцихский пашалык, всего имел в своем распоряжении 2.700 пехоты и конницы, занимавших кроме Ахалциха еще отнятые у турок укрепления Ардаган, Ацхур и Ахалкалаки. В Карсском и в Баязетском пашалыках русские войска зимовали не в большей силе: в первом из них генерал Берхман имел под ружьем 2.650 человек, а во втором генерал Панкратьев командовал 2.800 пехоты и 370 конницы. Турки хотя и получили в лето 1828 года несколько весьма назидательных уроков, но их военная сила в Малой Азии не была еще окончательно уничтожена. Вновь назначенный сераскир, Хаджи-Салех, и начальник действующих турецких войск, Гакки-паша, имея повеление Порты не только положить преграду дальнейшим успехам русских, но и отнять у них прежде завоеванные провинции, хвалились для исполнения этого предприятия собрать к весне около 200.000 воинов. Хотя такой громадный расчет, кажется, не имел другого основания, кроме пламенной ревности двух турецких сановников к святому мусульманскому делу, распалявшей их воображение, однако и половины этой силы было бы достаточно для того, чтобы зимовавшую за границей горсть русских войск поставить в весьма опасное положение. Главное внимание турок было обращено на Ахалцих, который они решились отнять у русских еще до начала весны. Ахмет-беку аджарскому поручалось исполнить это предприятие, и уже в январе стали носиться слухи, будто он для того собирает своих подвластных. На основании этих слухов крепость привели сколько позволяли скудные средства в такое состояние, чтоб она могла противиться неприятелю. Можно было надеяться на стойкость солдат и на распорядительность их начальника, но все-таки малочисленность ахалцихского гарнизона и крайняя затруднительность при наступлении опасности вовремя подоспеть к нему на выручку по неудобопроходимым, снегом заваленным горным дорогам сильно озабочивали главнокомандующего и служили предметом частых совещаний с начальником штаба и с обер-квартирмейстером.

В половине февраля известия о сборах Ахмет-бека возобновились с новой силой; сделали распоряжение, ежели они подтвердятся, направить в помощь к ахалцихскому гарнизону Н. Н. Муравьева с пятью батальонами, тринадцатью орудиями и небольшим сборным отрядом Бурцева. В то время случилось, что полковника Вольховского потребовали однажды ночью к графу Паскевичу. Явившись на зов его с привычною скоростью и не зная за собой вины, он в

первое мгновение совершенно растерялся от приема главнокомандующего. Вольховскому нередко случалось заставить Паскевича в раздраженном состоянии духа, но никогда до сей поры он не видал его в таком бешенстве. Со сжатыми кулаками бросился он к нему навстречу и, задыхаясь от гнева, произнес: «Ахалцих!»

Измерив кабинет быстрыми шагами, он снова подскочил и, сделав над собой усилие, dokonчил начатую фразу словами: «взят турками».

— Не может быть! — вырвалось у Вольховского.

— Как это: не может быть? — крикнул главнокомандующий. — Я имею официальный рапорт... вот он! — И в шар скомканная бумага полетала на пол из его руки.

В это время вошел начальник штаба, барон Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен, которого также успели поднять с постели. Паскевич обратился к нему.

Вольховский воспользовался этою минутой, поднял смятую бумагу, разгладил ее и стал читать про себя. Прочитав от кого рапорт, он тотчас подумал, не вкралась ли в него неясность, ввергнувшая Паскевича в заблуждение; доносил хертовисский воинский начальник, майор Педяш, храбрый офицер, но страстный охотник писать много и красноречиво, употребляя слог своего собственного изобретения.

В начале донесения стояло: «Февраля, 20-го дня; Ахалцих турками взят», запятая — факт выраженный так ясно, так положительно, что Паскевич, не продолжая читать, в порыве досады смял рапорт и тотчас послал будить обер-квартирмейстера и начальника штаба. После запятой следовало: «армиею под начальством Ахмет-бека аджарского, состоящую из такого-то числа пехоты, конницы и артиллерии» — затем исчисление начальников частей, потом изложение распоряжений, сделанных князем Бебутовым для защиты крепости. Вольховский перевернул страницу, в конце которой отыскал вторую запятую, и после нее утешительные слова: «во блокаду. О чем Вашему Сиятельству всепочтительнейше имею честь донести».

Тем временем в разговоре главнокомандующего с начальником штаба беспрестанно слышались слова: «все потеряно». С падением Ахалциха бесспорно должна была рушиться надежда на успешный ход будущей, так хорошо подготовленной кампании.

— Не все еще потеряно, — позволил себе произнести Вольховский, скромным голосом.

— Это что еще! — крикнул Паскевич.

— Извольте, ваше сиятельство, взглянуть на конец рапорта. Ахалцих не взят турками, он ими только блокирован, и смело можно полагать, что князь Бебутов устоит против неприятеля, пока Муравьев и Бурцев подойдут к нему на выручку.

Для Паскевича наступила очередь смутиться от напрасно наделанной им тревоги.

Ахмет-бек аджарский 20-го февраля 1829 года действительно подступил к Ахалциху, потом штурмовал крепость, был отбит и по прибытии муравьевского отряда обращен в бегство, несмотря на его пятнадцатитысячное сборище.

Служебные бумаги, писанные педяшевским слогом, бывали нередко по военному ведомству; и в палатах, и особенно в уездных и земским судах, писать иначе считалось тогда противным заветным изворотам таинственности, в которую облакалось гражданское делопроизводство. Да и не для чего было выражаться более понятным слогом: ведь бумаги писались в то время по присутственным местам не для уяснения, а для искажения правды, из чего для дельцов благодатной старины проистекала немалая польза, которую умницы старались хранить про себя, воздерживаясь между прочим в делоизложении, если возможно было, от траты смысла разъясняющих точек и запятых. Даже в министерствах, в которых служили действительно способные люди, чиновник, обладавший плодовитым пером, т. е. умевший нанизывать слова и растягивать фразы, не придавая им положительного смысла, высоко ценился в служебном кругу. Прошло то блаженное время, когда, ратуя против правды и против здравого смысла путем безграмотности, еще можно было зарабатывать деньги да почет; в настоящую зловредную эпоху прогресса с таким искусством, не зная другого ремесла, пожалуй, придется голодать.

Из рассказов Пикалова, очевидца умного и беспристрастного, судившего о вещах и людях основываясь на оригинальных документах и на самых положительных данных, я познакомился с разными фактами, совершившимися на Кавказе в последние года, совершенно с другой стороны, чем они были известны публике. Вообще, благодаря его объяснениям мой взгляд на вещи получил более рациональное направление; о людях он научил меня судить менее опрометчиво как с дурной, так и с хорошей стороны, не ослепляясь их удачами по службе и не увлекаясь молвой, весьма часто расточающею наугад хулу и похвалу, и принимая за мерило их существенного достоинства одни неотъемлемые, им принадлежащие дела и мысли. А для этого мне надо было много слушать и много прочитывать. Ничто не характеризует лучше умственные способности человека, как собственноручно им изложенная идея касательно какого-нибудь важного вопроса. При этом изучении Кавказа как много громко прозвучавших дел и как много прославленных личностей понизились в моих глазах до уровня самой обыкновенной

вседневности, и сколько других малоизвестных фактов и скромных, в тени поставленных людей, выросли до размеров истинного величия.

Наслышавшись петербургских и московских общественных суждений насчет многих лиц, занимавших на Кавказе видное положение, я привез с собой готовое мнение о их геройстве и высоких умственных достоинствах и, признаться, приходил в сомнение, когда Пикалов начинал того или другого из их среды разоблачать перед моими глазами. О Цицианове, Ермолове, Котляревском, Вельяминове, Сакене, Вольховском и о многих других, даже менее замечательных людях, он относился с глубоким уважением. И прочим знаменитостям он отдавал, в чем следовало, полную справедливость, но говорил о них без восторга и охлаждал мой собственный жар удивления, раскрывая существенное значение их подвигов и их истинный характер. На мои возражения он отвечал обыкновенно рассказом одного или нескольких происшествий, называя живых свидетелей или, не говоря ни слова, раскрывал дело и просил прочесть переписку, мысли о покорении горцев или административный проект такого-то генерала N. N. Случалось, глубоко разочарованный, я узнавал в моем герое человека весьма обыкновенных способностей или еще хуже, открывал на нем личину поддельной гениальности, которая нередко успевает поработить общественное мнение в ущерб государственной и народной пользе. И не удивительно: хитрость — вместо ума, тупое упрямство — на место твердой воли, сердечная пустота — вместо силы душевной, слишком часто принимаются за проявление гения, если личность, одаренная этими отрицательными качествами, умеет действовать обаятельно на самолюбие людей или поражать их своею самонадеянностью. Вспомнит мои слова, кто станет рыться в пыли тифлисского и ставропольского военных архивов и извлечет из них правду для обнародования — не теперь, а позже, когда ее можно будет высказать без обиняков, не опасаясь задеть чье-либо самолюбие или против воли впутаться в бесполезную борьбу против современных предубеждений.

Особенно поручаю его вниманию проекты о покорении Кавказа; в этих проектах он найдет не только много любопытных, но и очень много забавных идей. Одно время, в начале тридцатых годов, наше военное министерство засыпало подобного рода проектами — и кто их не писал, и чего в них не писалось! Министерство, не давая себе труда разбирать, препровождало рукописи в Тифлис на рассмотрение и требовало ответа. От корпусного командира они поступали в генеральный штаб, и многие из них прошли через мои руки. Предлагали действовать против горцев, подвигаясь не с равнины к горам, а с гор к ровным местам; строить крепости на хребтах и наблюдательные посты на горных шпилях; рвать горы порохом; против хищников растягивать проволоочные сети по берегам Терека и Кубани. Мирным путем советовали их усмирять: торговлею, водворением между ними роскоши, пьянства — должно быть предлагал откупщик — и наконец музыкой, посредством заведения у горцев музыкальных школ. Этот последний проект, начинавшийся словами: «в глубокой древности уже было известно, что музыка, производя приятное впечатление на слух, смягчает человеческие нравы, и т. д.» — был написан каким-то коллежским советником в Петербурге и прислан к нам на обсуждение в начале 1832 года. Не считаю нужным прописывать судьбу каждого из этих проектов; после кроткого отрицательного ответа, его укладывали в архивную пропасть на изучение мышам и бумаготочивым насекомым...

Между делом у нас доставало еще довольно времени ходить по городу и по садам, которые в то время не надо было далеко отыскивать. Против полиции, за угловым домом, в котором два года спустя была открыта памятная всем прежним тифлисцам ресторация Матасси, начинались сады, заслонявшие все Салалакское ущелье. Посреди живой зелени их, вправо от тесной дороги, извивавшейся между каменными садовыми стенками, одиноко стоял дом князя Бебутова, окруженный высокою оградой, с крепкими, всегда затворенными воротами, ревниво укрывавшими домашний быт жильцов от чужого любопытства. Тогда не легко было для русского проникнуть в круг грузинского, а тем более армянского семейства и сделаться у него домашним человеком, если не представлялась выгода с ним породниться. Улица, ведущая от Эриванской площади на юг к подошве горы, на которой находились развалины старой крепости, окончательно обстроилась после моего приезда; в 1832 году дома существовали только по левую руку; вся ее правая сторона, исключая угловой дом, прилегала к пространному винограднику, доходившему до самой горы. Правый берег Куры за Елизаветпольскою рогаткой представлял одну сплошную массу садов, где над тенистыми сводами широколистой лозы гранат, персик и миндаль раскидывали роскошь своей блестящей зелени, ластясь вокруг вековых, объемистых орехов и пирамидальных тополей, высоко к облакам возносивших гордые вершины. Не знаю, потому ли только, что в тогдашнее время я смотрел на предметы глазами молодости, или потому, что тифлисская природа действительно так хороша, но Тифлис посреди окружающих его гор, окаймленный садами, с его быстрой рекой, с грядой снежных вершин на дальнем горизонте, с темно-голубым небом над головой, несмотря на палящее солнце, казался мне местом, краше которого я ничего не знал да и узнать не желал. Даже те городские неудобства, которые в других возбуждали неудовольствие, имели для меня свою привлекательную сторону, обнаруживая оригинальность, доставлявшую моему любопытству всегда новую пищу.

В новом городе не существовало мостовой. Отсутствие ее было нечувствительно в сухую погоду, но после легкого дождя улицы мгновенно покрывались непроходимой грязью: тогда экипаж или верховая лошадь становились необходимыми. Во всем Тифлисе были в те года восемь, много десять карет и колясок, принадлежавших высшим властям и двум или трем богатым грузинским семействам. Внутри края грузинские дворяне, мужчины и женщины, путешествовали преимущественно верхом, реже на воловьих арбах и в трактараванах — крытых носилках, повешенных между двумя гусем идущими лошадьми или лошаками; городские жители и за ними русские офицеры предпочитали ездить верхом и только в особенных случаях прибегали к извозничьим дрожкам в две лошади, для которых были устроены стоянки на Армянском базаре и на площадях Эриванской и Мадатовской. Тифлиссские извозчики ездили шибко, но их дрожки, известные в Москве и в Петербурге под именем «гитар», не отличались ни удобством, ни безопасностью сидения: на них можно было удержаться только верхом; сидевший боком рисковал при скорой езде на первом крутом повороте ринуться лицом в грязь или, что хуже, полететь назад через голову, ногами вверх. Это метательное свойство казалось бы должно было противиться употреблению их прекрасным полом, однако грузинки и армянки, которые, следует заметить, не покидали народного костюма и под юбкой прикрывались красными шальварками персидского покроя, изобрели весьма остроумный способ ездить по четыре на дрожках, считавшихся не довольно просторными для одного русского. Две садились верхом одна против другой, две помещались справа и слева на колени к своим подругам, оплетавшим их талию скрещенными руками, и таким образом составляли четырехголовую женскую пирамиду, сверху

до низу покрытую белыми чадрами, которая мчалась по тифлисским улицам в назидание всем прихотливцам, брезгавшим извозничьим экипажем. Случалось, что на задней дрогочной оси, уцепившись руками за рессоры, висел еще «бичо» — мальчик, без которого для порядочной грузинки считалось неприличным показываться на улице.

Об освещении города нечего и говорить; на главной улице вправо и влево от дома главноуправляющего горели по два тусклых фонаря, да на Эриванской площади светил фонарь возле полиции, а все остальные улицы старого и нового города оставались погруженными в непроницаемый мрак южных ночей, когда луна не разливала по ним своего чудного света. Хорошее знание местности требовалось для того, чтобы в безлунную ночь уберегаться от ям, оврагов и буераков, испещрявших самые жилые части нового города. Экипажный спуск к Мадатовской площади был открыт с левой стороны — дом для начальника штаба подстроили только в сороковом году — и упирался хотя в неглубокие, но очень крутые овражки, отделявшие ездовую часть от Солдатской слободки. Тут легко было сбиться с пути, и в темные, дождливые ночи мне самому не раз случалось и с дрожками и пешему лежать в этих овражках. Благо они были не глубоки, и рыхлая, дождем размягченная почва сберегала от опасного ушиба — весь изъязн ограничивался замаранною шинелью, да разве еще потерянною фуражкой. Только с трех сторон обстроенная Мадатовская площадь вмещала следующие сооружения: длинный, одноэтажный инженерный дом занимал северный фас; на углу восточного фаса стоял одноэтажный же дом с мезонином, подпертым четырьмя толстыми, неуклюжими колоннами, в котором жил тогда дивизионный командир барон Роман Федорович Розен; от этого дома до противоположного угла тянулась невысокая стена из дикого камня с двумя безворотными проходами, отделявшая от площади целый квартал, занятый жилищами нескольких семейств из рода Орбелиани. На южном фесе красовались три дома, из коих один, угловой, принадлежал князю Туманову, о котором нечего было бы упомянуть, если б он не пользовался счастьем иметь красавицу жену и хорошенькую дочку. На запад площадь упиралась в обрывистое возвышение, с которого спускалось несколько тропинок, удобопроходимых днем, но весьма небезопасных в ночное время; поэтому она могла считаться загороженной и с этой стороны, хотя тут не было ни одной постройки. Старый город составлял бесспорно самую живописную и истинно любопытную часть Тифлиса, несмотря на нечистоту, неудобства и очень некрасивые вещи, ежеминутно попадавшие на глаза человеку, проникавшему в его извилистую внутренность. Тесные и кривые улицы местами были устланы такого рода головоломной мостовой, что без греха позволялось включить в ежедневную молитву: и избави нас Господь от такой напасти. В целой России, известной многими плохими мостовыми, один Арзамас стоял выше Тифлиса в достоинстве всеразрушительных свойств своего знаменитого мощения. Местами улицы, поднимаясь в гору, не требовали мостовой по причине каменистого грунта. Это были самые покойные и безопасные участки. С утра до позднего вечера народ толпился на этой ухабистой мостовой промеж лавок, открытых мастерских и духанов, покупая, продавая и перекрикиваясь на множестве разнозвучных наречий, которыми Кавказ так изобильно наделен. Грузины, армяне, татары, лезгины, персияне, имеретины, кабардинцы, русские, немцы, каждый в своем народном платье, составляли мешаную толпу, привлекавшую внимание своею яркою пестротой. Несмотря на кинжал, неизменный товарищ каждого кавказского уроженца, на шашки, сабли и ружья, которыми народ был обвешан, воровство и убийство на базаре считались неслыханным делом. Может статься, не в одной бритой голове тут же бродила мысль, как бы хорошо было того или другого нечистого свиноеда встретить подальше от города, где не имелось налицо ни солдата, ни казака, и там его отправить к праотцам

да обобратить; но на городской мостовой эта самая голова только приятно ухмылялась предмету своих тайных помыслов и смиренно преклоняла выю под стеснительный закон москоу-гяура.

К Армянскому базару примыкали несколько небольших площадок; каждая из них имела свое особенное назначение: на одной покоились развьюченные верблюды, оглядывавшие проходящих с выражением неудовольствия, исполненного горечи, другая была запружена сотнями ешаков, навьюченных корзинами с углем для мангалов — комнато-нагревательных жаровен — и для оружейных мастеров, которыми был набит Тифлис, третья была заставлена буйволями бурдюками, наполненными вином... В Грузии, как известно, вино хранится не в бочках. Для перевозки его с места на место употребляются бурдюки разных величин, делающиеся из цельной кожи животного, начиная с козленка до буйвола, с внутрь обращенною шерстью, намазанною нефтью. Новые бурдюки передают вину дух и вкус нефти, неприятные для человека непривыкшего пить вино с этою приправой, почти нечувствительною, если оно хранилось в старом бурдюке.

Во всех закавказских провинциях виноград растет в изобилии, но ни одна из них не равняется добротой вина с Кахетией, покрытою вдоль алазанской долины, на протяжении ста двадцати верст от Алаверды до Алмалы, непрерывным рядом виноградников, посреди которых многолюдные селения покоятся в тени громадных ореховых деревьев. По высотам, ограничивающим долину с севера и с юга, грузинские помещичьи дома, фланкированные башнями старинной постройки, красиво отделяются от темной зелени густых лесов. Засеянных полей немного; вся земля отдана виноделию; зерна в Кахетии не достает, она покупает его на деньги, вырученные за вино. По богатству почвы, по климату и по красоте природы Кахетию можно, не предаваясь метафоре, назвать земным раем. В Швейцарии и в южной Италии многие пункты пользуются всемирною славой неподражаемой красоты, и эти места действительно хороши. Однако, не наслаждался видом одной из самых очаровательных картин, созданных Творцом на радость человеку, кто не видал Кахетии, кому не удалось с высоты, на которой уступами рисуется город Сигнах, любоваться восходом солнца из-за снегового хребта, заслоняющего алазанскую долину с северо-востока, когда облака, меняя освещение, одеваются во все цвета радуги, постепенно ясное небо проникается прозрачностью голубоватого хрустала, вершины противоположных, снегом покрытых гор начинают пламенеть, наконец огненный диск солнца выкатывается из-за зубчатой стены Кавказа, туман, заслонявший низ долины, распахивается как занавес, и глубоко под ногами раскрывается носящий название Кахетия нескончаемый цветущий сад, опоясанный серебряною лентой Алазани. Раз в жизни мне случилось с террасы одного из сигнахских домов глядеть на восход солнца над алазанскою долиной; с тех пор прошел для меня длинный ряд годов, много я видел новых стран, много прекрасных мест, но нигде не встречал картины, врезавшейся мне в память такими глубокими чертами.

Кахетинское вино пользуется на Кавказе славой, которую оно вполне заслуживает. Внутри России его не ценят по достоинству, в Европе о нем почти не знают; но это отнюдь не мешает ему равняться с лучшими бургундскими сортами. В мое время (полагаю и теперь еще не бросили старинного обычая) грузинские вина хранились не в бочках и не в бутылках, а в огромных глиняных кувшинах, формы древних амфор, зарытых в землю по горло. Некоторые кувшины

вмещали до трех тысяч тунг (пятнадцать тысяч бутылок). Место, где под крышей, подпертою каменными столбами, покоились в земле кувшины с вином, называлось «маранью». Для перевозки вина, как я прежде сказал, употреблялись бурдюки и неудивительно, ежели длинные нити ароб, нагруженных бурдюками с вином, тянулись по всем дорогам к Тифлису, и ими загромождались целые площади, потому что в Грузии, Имеретии и Мингрелии не было бедняка-поденщика, который бы сел обедать, не имея перед собой кружки вина, хотя бы вся его пища состояла из одного чурека и из щепотки черемши, джонжоли или другой зелени. Грузины — охотники до вина и пьют немало, несмотря однако на хорошее качество родного вина, на его дешевизну и на их трудно утолимую жажду, редко я встречал между ними пьяниц. Зато часа в три после полудня, когда проходило обычное время обеда, можно было считать навеселе все Грузинское царство, о чем позволялось судить по яркому цвету носов, по усиленному блеску глаз и по добродушно веселому выражению лиц у всех встречаемых. В это время народный характер выказывался в его настоящем виде. Грузины народ добрый, откровенный, общежительный, храбрый и крайне беззаботный; любят они разгул и военные похождения. Расчетливая жизнь, хозяйственные заботы, промысел и торговля не их дело. На это существуют в Грузии армяне, отлично умеющие воспользоваться непрактичною стороною грузинского характера и овладеть торговлей, промышленностью и всеми источниками этой богатой страны.

В 1832 году в Тифлисе не было и помысла о театре. Русские и грузины проводили время в тесном семейном кругу, не часто сообщаясь между собой; общественные удовольствия ограничивались: для первых — прогулками за город, холостыми вечерами за вином и картами, да приемными днями у Корпусного командира; для вторых — обедами в садах, которыми и русская молодежь не пренебрегала, и скачками. Грузинки высшего общества, применяясь к русским обычаям, без дальних затей скучали дома или чинно красовались на редких официальных вечерах, а принадлежавшие к среде небогатого дворянства и городского среднего сословия, следуя старинной привычке, по вечерам забавлялись пляской на плоских крышах, обществом ходили в тифлисские теплые бани, а по четвергам все женское городское население с раннего утра отправлялась на поклонение Св. Давиду.

Маленькая церковь, построенная над могилой Св. Давида, к которому грузинки питают особенное благоговение, как известно каждому, кто бывал в Тифлисе, стоит на половине отвесной горы, возвышающейся над арсеналом. Крутая каменистая тропинка змеиными извилинами ведет к святилищу, господствующему с высоты своей над всем городом и над самыми сокровенными помыслами красивейшей половины его жителей. Грузинки, по обету сняв обувь, шли в гору просить у святого: девицы — суженого по сердцу, женщины бездетные — плода, беременные — счастливого разрешения, покинутые — нового счастья. Вера в святого не имела предела и что всего лучше просительницам не надо было томиться долго неизвестностью, достигнут ли они своего желания или нет.

Следовало только по окончании молитвы приложить к сырому фундаменту церкви камешек, поднятый на горной тропинке: прилипнет он, значит желание исполнится; упадет — нечего и надеяться. Часто я ходил глядеть, как по четвергам до свету еще на пустых улицах начинали со всех сторон собираться чадроносицы, как число их, умножаясь, сливалось в непрерывную белую

ленту, извивавшуюся по крутой дороге, пролежавшей к Св. Давиду, как они, поклонившись чудотворным мощам, подобно бесчисленной стае лебедей рассыпались по горе для отдыха и будто взмахами белоснежных крыльев манили к себе на высоту праздновать появление молодого дня. Сколько томных черных глаз, сколько нежно обрисованных личек случалось мне тут видеть на одно мгновение, едва успевая окинуть беглым взглядом очерк гибкого стана, быстро мелькнувшего из-под нечаянно распахнувшейся чадры. Все грузинки, молодые и старые, ловко умеют драпироваться в чадру, закрываясь ею до глаз; у молодых и хорошеньких она однако не держалась так плотно как у старух, и нередко слегка раскрывалась при встрече с мужчиной, ненадолго, на одно мгновение, но его было достаточно для удостоверения, что ею прикрывались не старость и не уродливость. И после этого, с воображением, наполненным заманчивыми призраками лучших благ, какие в молодости нам сулит жизнь, не охлажденная еще долгим опытом, мне приходилось прямо идти в канцелярию, готовить доклад, прочитывать весьма незанимательные бумаги и поправлять писарские ошибки. Скучная, сухая, но неустраняемая работа не позволяла мне тратить много времени на мечтания. И на существенный отдых я имел мало досуга. Пикалов, сдав мне отделение, в начале июня уехал в Бамборы, и по части генерального штаба я один остался при Вольховском, выносившем на своих плечах все приготовления к решительной экспедиции против Кази-Мегмета. Несмотря на то, что на нем лежали две должности, начальника штаба и обер-квартирмейстера, и несмотря на мою слабую опытность, дело шло не останавливаясь. Его неутомимое трудолюбие, его добросовестность и его неизменно-настойчивое терпение служили для меня живым примером и не допускали с моей стороны ни ошибок, ни упущений. Вникая сам во все он предпочитал вместо укора собственным трудом исправить невольную ошибку подчиненного и ни в каком случае не позволял себе резких выражений. Между тем самое легкое, можно сказать, дружеское замечание с его стороны смущало меня более крикливых и оскорбительных «распеканий», которыми многие начальники того да и позднейшего времени имели привычку наделять своих подчиненных, полагая этим способом внушить к себе страх и уважение. А происходило это оттого, что Вольховский, в сознании своего достоинства, не чувствовал надобности отпугивать от себя людей, чтобы не подсмотрели чего и, проповедуя строгое исполнение служебных обязанностей не обидным словом, а честным примером, внушал каждому человеку глубокое уважение к своему характеру.

Не в виде анекдота, а в смысле действительного факта, подтвержденного мне многими его товарищами, привожу следующую черту, доказывающую в какой степени он был требователен к самому себе, когда дело касалось службы.

Не имея довольно времени на исполнение обязанностей, лежавших на нем в малоазийскую кампанию тысяча восемьсот двадцать девятого года, он решился тратить на сон не более шести часов в сутки, и потому каждый раз, когда его одолевала усталость, отмечал минуты проведенные в дремоте для вычета их общего итога из ночного. Подобного рода точность было бы позволено отнести к халатному педантизму или к желанию отличить себя чем-нибудь особенным, если бы цель и побуждение, руководившие Вольховским в этом случае, не были лишены всякого частного расчета. Он знал заранее, какое спасибо ему готовилось за все его труды. Многотерпеливый страдалец чужого, неимоверно раздражительного самолюбия, он кончил тем, что был удален из армии, когда им же подготовленные успехи позволили обойтись без него.

И мне случалось в Тифлисе нередко отнимать дорогие часы у сна, только не для работы, подобно Вольховскому, а для того, чтоб освежить голову на чистом воздухе и освободить легкие от пыли, которую я в продолжение жаркого дня глотал в канцелярии, пересматривая старые дела.

В июне становилось так жарко, что с удовольствием можно было жить только ночью. Температура доходила после полудня до + 28° Реом. Зато после заката солнца, когда свежий, душистый ветерок с гор проникал в сгустившуюся над городом, жаром пропитанную атмосферу, наступали часы, в которые было легко и весело жить. Улицы, опустелые до того времени, наполнялись народом, на крыши и на террасы высыпали ожившие жильцы, повсюду слышались протяжные ноты голосистых татарских и грузинских песен, мерно звучали бубны, и на высоте домов мелькали в переливах полусвета, распространяемого цветными персидскими фонарями, яркие женские платья и заманчивые силуэты пляшущих девушек. Далеко за полночь кипела веселая жизнь на крышах и на улицах, усыпанных народом, жадно вдыхавшим ночную прохладу. В то время дома старого города были устроены так, что, не касаясь мостовой, а поднимаясь только и опускаясь с одной крыши на другую, можно было обойти целый квартал и открыть себе вход в любой дом. С Пикаловым, которого в околоте все знали и очень любили за его общительность, мы раза два предпринимали по нашему кварталу такого рода прогулку, избегая однако заходить на те крыши, где находились одни женщины: молодые разбежались бы, а старухи разбранили бы нас без всякой церемонии за нашу нескромность. Туда же, где присутствовало мужское существо, смело можно было идти, зная на верное, что веселый и добродушный грузин нисколько не обидится посещением незнакомцев, а гостей, которых ему Бог послал, хотя и не совсем обычным путем, примет с открытым сердцем, познакомит со своим семейством, дочерей или сестер заставит плясать лезгинку, а сам, распевая под звук чунгура, станет пить и донельзя поить своих новых друзей.

Ночной вид Тифлиса после жаркого летнего дня заключал в себе столько заманчивого разнообразия, что каждый раз можно было им наслаждаться с новым удовольствием, не замечая как уходили часы. Но всего краше являлся город при лунном свете. Тогда разве слепому или совершенному идиоту было простительно не любоваться чудною картиной, которая рисовалась перед глазами. В такие ночи позволено ли было думать о сне и об усталости! Нередко утренняя заря заставляла нас на улице или где-нибудь далеко за городом.

К числу более осязательных и каждому душевному настроению доступных удовольствий принадлежали тифлиские бани, построенные на серных горячих источниках, по-грузински «типлис», давших начало названию города. Они занимали немаловажное место в быту туземного населения, посещавшего их не по одной надобности, но и в смысле приятного препровождения времени. Четыре бани, между которыми лучше считалась баня, носившая название «архиерейской», потому что доходы с нее поступали в пользу тифлисского архиерея, никогда не оставались пустыми. Летом они посещались преимущественно от заката до восхода солнца. Поочередно две бани отводились для женщин, а две оставались в распоряжении мужчин. Наружным видом тифлиские бани мало отличались от других восточных купальных заведений, построенных на один общий образец. За длинным, темным входом просторная ротонда, получающая свет через окна, пробитые в куполе, посреди ротонды бассейн студеной воды с

фонтаном, по сторонам глубокие ниши для раздевания, примыкающие к одной общей и к двум или трем отдельным купальням, в которых из стены бил горячий ключ. Широкие каменные скамьи, застланные циновками и тюфяками, были расположены в нишах для отдыха после бани. В Турции мне случалось видеть публичные бани красивее и богаче, но что касается до искусства мыть, растирать и переминать суставы так приятно, что купающийся погружался в какое-то неопределимо-сладостное изнеможение, тифлиские банщики не находили равных себе. Лучшие из них набирались в Персии, откуда они охотно переходили в Грузию, дороже ценившую их талант. Банщицы, носился слух, не уступали им в искусстве костомятной манипуляции и поэтому неудивительно, если тифлиские красавицы, не имея большого выбора в удовольствиях, любили нежиться в банях и проводить в них целые вечера в обществе своих приятельниц. При тогдашней строгости грузинских обычаев, мужчине не позволялось даже близко подойти к бане, отданной в распоряжение женщин, и всякая попытка нарушить запрещение повлекла бы за собой весьма неприятные последствия для нескромного искателя приключений. Но одна отдельная купальня не отнималась по четвергам у посетителей мужского пола, несмотря на присутствие женщин во всех прочих отделениях. К тому же ниша для раздевания, принадлежавшая к этой купальне, отделялась от ротонды, занятой женщинами, одною темно-зеленою саржевою занавесью. И странное дело: женщины, отнюдь не из категории легконравных, недоступно стыдливые во всякое другое время, на улице закутанные в чадру до бровей, нисколько не смущались, чуя за колеблющеюся занавесью нескромный глаз незнакомого пришельца и мелькали по ротонде в том разоблаченном виде дианиных нимф, из-за которого Актеон так горько пострадал. А из молодых грузинок и армянок, могу поручиться, весьма немногие по наружности не годились прямо в свиту к целомудренной богине. Мало кому из русских был известен этот непонятный четверговый обычай, туземцы про него не рассказывали, и поэтому он укрывался от внимания большинства тифлисской публики. В другой женский день, в субботу или понедельник, не пропустили бы мужчину через порог этой бани, а в четверг ничего не значило. «Такой закон», объявлял смотритель бани; «такой закон», — утешали себя молодые купальщицы; и этим мудрым словом, решающим на Востоке каждый запутанный вопрос, устранялись все дальнейшие сомнения.

На первых порах я не имел времени участвовать в холостых пикниках, которые устраивались по загородным садам, потому что эти обеды обыкновенно продолжались очень долго и не обходились без попойки, а мне следовало всегда держать наготове свежую голову, не зная заранее, когда Вольховскому вздумается потребовать меня к себе для дела. До выступления в поход я не имел даже удобного случая короче познакомиться с товарищами, число коих было весьма ограничено, потому что барон Розен, недавно приехав в Грузию, не успел еще сформировать свой штаб, а офицеры, служившие при лице князя Варшавского, за исключением немногих, уехали вслед за ним в Царство Польское.

Дружеские отношения, в которых одна близкая мне родственница находилась с баронессой, доставили мне весьма ласковый прием с ее стороны. На домашних обедах, к которым Корпусной командир имел обыкновение приглашать поочередно всех служивших при нем офицеров, я познакомился с его дочерьми и младшим сыном, носившим еще пажеский мундир, а на баронессиних приемных вечерах имел случай бросить хотя поверхностный взгляд на тифлисское общество, в котором круг моего знакомства расширился позже, когда мы вернулись из экспедиции.

V.

Баронесса Елизавета Дмитриевна во дни молодости, носился слух, была очень хороша и имела в свете много успеха. В 1832 году ей было далеко за сорок лет, и следы прежней красоты едва проглядывали сквозь полноту, которая, увеличиваясь с годами, под старость стала для нее тяжелым бременем, но в то время придавала ей только вид осанистой дамы, более почтенной, чем моложавой наружности. Она очень любила репрезентацию и настойчиво ласкала эту, впрочем, довольно невинную страсть, находившую полную пищу в служебном положении ее супруга. В общественном отношении, при множестве ее хороших качеств все бы пошло наилучшим порядком, если б она с наименьшею важностью принимала тифлиских дам, которые не в силах были простить ей тон, неприятным образом задевавший их щекотливое самолюбие. Не влюбив ее, они не замедлили составить сильную оппозицию, в которую мало помалу втянули своих покорных супругов и приучаемых угодников. Все это, разумеется, происходило за кулисами, и баронесса продолжала жить в уверенности, что ее все обожают. Тут разыгрывалась слишком обыкновенная светская комедия: все в ней нуждались и все ей кланялись, льстили ей в глаза, а заочно взводили на нее всякую быль и небылицу. Весьма немногие личности умели хранить должную независимость чувств и поведения. Люди, пресмыкавшиеся перед нею, когда барон был в силе, пользовавшиеся ее особенным покровительством и во многом ей обязанные, случалось, в последствии, укоряли ее громче других, не совестясь к зерну, правды подбавлять грузы лжи. Не пойду по их следам, хотя сам никогда не принадлежал к числу ее безусловных поклонников; с благодарностию стану вспоминать о тех приятных минутах, которые я проводил у нее в доме, когда мне удавалось вступать в полосу милостивого от нее расположения. А что касается до падавшего на нее укора в гордости и повелительности, то спрошу только, многие ли дамы, поставленный в ее положение, держали бы себя иначе.

Каждый вечер гостиная баронессы была открыта для небольшого числа избранных посетителей, обыкновенно адъютантов и других штабных офицеров, получавших именное приглашение или имевших право бывать без зова; два раза в неделю, в четверг и в воскресенье, она принимала по вечерам все тифлисское общество. В обыкновенные дни редко можно было встретить у нее кого-либо из городских дам; мы проводили эти вечера в тесном семейном кругу, состоявшем из баронессы и ее двух старших дочерей. Две младшие дочери тогда были еще дети, которых гувернантка уводила при появлении первых гостей. Иногда освободившись от занятий, приходил барон Григорий Владимирович и садился за большой круглый стол возле их дочерей слушать болтовню молодежи, которую он ни сколько не стеснял своим присутствием, а напротив и вызывал к полной откровенности серьезною добротой, просвечивавшею во всем, что он говорил и делал.

Простота семейных вечеров, облегчавшая благодаря уму и добродушию барона общественные отношения скромных подчиненных ко всемогущему начальнику, с лихвой искупалась чопорностью официальных собраний, которые, правду говоря, на наши глаза имели мало привлекательного, несмотря на приманку грузинской красоты, являвшей тут худшие образцы. Не

знаю с какой целью необходимо было доводить требования этикета до такой степени, знаю только что от этого было скучно и неловко. Собирались на вечера не поздно, к восьми часам. Пока было светло, баронесса принимала гостей на террасе, окаймленной зеленью и кустами и украшенной фонтаном, с которой открывался вид на часть ниже лежавшего города и на дальние горы. Тут было хорошо, свежо, и еще довольно свободно можно было прохаживаться, подходить и разговаривать с кем казалось поинтереснее, не опасаясь нарушить иерархического порядка и требуемого безмолвия. По вступлении в комнату сцена изменялась. Старики и дамы почтенных лет размещались за карточными столами в большом салоне, оклеенном, как помню, красными французскими обоями, что в то время в Тифлисе считалось завидною роскошью. В этой комнате теснились густою толпой кавалеры, не имевшие смелости проникнуть во второй, заветный салон, где сидела баронесса Елизавета Дмитриевна с дамами, не игравшими в карты. Она сама любила бостон, но не позволяла себе садиться за игру с начала вечера, заканчивая его этим удовольствием. Покинув террасу, она помещалась с дочерьми в глубине салона, и направо и налево от них нанизывались вдоль стены по старшинству чина и происхождения дамы и девицы, осужденные перешептываться между собой, потому что из кавалеров весьма немногие смельчаки решались проникнуть в средину этого очарованного круга на испытание своего счастья в игре остроумия и светской ловкости. Напрасно баронесса старалась оживить общество, придумывая всякого рода «jeux d'esprit» и устраивая музыкальные занятия, в которых участвовала сама с дочерьми. Дело не шло на лад по весьма существенной причине: два главные элемента: коренной грузинский и русский, совершенно изменившийся по причине отъезда старых и прибытия множества новых лиц, как всегда случалось при перемене главнокомандующего, не успели еще сблизиться, и каждый со своей стороны хранил наблюдательное положение. В мужском кругу господствовали военный мундир и грузинская чуха, а фрак являлся в виде редкого исключения; дамское общество делилось на два лагеря, на русских и некоторое число грузинок, одетых по французской моде, и на большинство грузинских дам, не изменивших еще своему национальному костюму. О кавалерах не стану говорить, хотя между ними были человека два — три весьма замечательные и в светском отношении; но так как они в поле вымазались еще с лучшей стороны, чем на паркете, то приберегаю упомянуть о них позже, а теперь брошу взгляд на дам принадлежавших к кругу высшего тифлисского общества.

Русских дам, занимавших в нем видное место, было тогда в Тифлисе очень мало. Напрасно припоминаю, какая из них имела бы право навсегда поселиться в памяти молодого офицера, который мог судить о достоинстве их по одной наружности, а не по скрытым душевным качествам, оставшимся для него вечною загадкой по причине недостатка времени, случая, да и потребной опытности на такое трудное исследование. По особым причинам, только две русские дамы того времени остались в моей памяти: Катерина Николаевна Д., начальница тифлисского пансиона благородных девиц и задушевная приятельница баронессы Елизаветы Дмитриевны, потому что она природой была награждена такими голиафскими размерами роста и толщины, что от них не только ее воспитанницы, но и посторонние приходили в невольный трепет, и всему Тифлису известная старушка Катерина Акакиевна, первая мастерица играть в бостон. Катерина Акакиевна, прибывшая в Тифлис едва ли не в конце прошедшего столетия с первыми русскими войсками, была почтенная, всеми уважаемая дама, во всех случаях, кроме бостона, умевшая хранить с приличием требуемое спокойствие духа. Предавшись бостону, она забывала весь остальной мир и, бывало, приходила в такой нестарческий восторг, что ее смущенные партнеры не знали, чем унять расхажившую старушку, без пощады бранившую их за каждый выход не имевший счастья ей понравиться. Низко приседая перед баронессой во всякое другое время, за

бостоном она решительно не признавала ее первенства и спорила с нею как бы с обыкновенною, равною ей дамой, забывая даже величать ее вашим превосходительством. Эта бостонная раздражительность почтенной Катерины Акакиевны происходила не от скупости или врожденного пристрастия к картам: бостон составлял для нее жизненный вопрос. Лет тридцать тому назад, оставшись вдовой после мужа, полковника, убитого в войне с горцами, она увидела себя осужденною прозябать на чужой стороне с пансионом, от которого бы просто пришлось голодать ей и сыну, если бы не выручал бостонный талант. Бостоном она зарабатывала ежедневное пропитание, бостоном воспитала своего сына, определила на службу, пустила его в чины а по смерти даже оставила ему капиталец в несколько десятков тысяч рублей ассигнациями. При всей скудости своих средств она умела составить себе в тифлисском обществе весьма недурное положение. Первою обязанностью для каждого новоприбывшего молодого человека считалось представиться Катерине Акакиевне, иначе он рисковал попасть к ней на язычок; а матушки взрослых дочерей ласкали ее и отдавали ей всякое почтение, одинаково опасаясь язычка; да говорят и потому, что она умела с легкой руки устраивать не только бостонные, но и матримониальные партии. Мне она осталась в памяти по одной довольно забавной сцене, разыгравшейся у баронессы за карточным столом. Катерина Акакиевна, по нужде ставшая образцом расчетливости, взяла привычку платить за картами не иначе как старыми, обтертыми или обрезанными червонцами. Баронесса Елизавета Дмитриевна, в равной степени не любившая нести потери, заметила эту уловку, и откладывая в сторону получаемые от нее червонцы, не упустила случая при первом проигрыше вернуть их Катерине Акакиевне. Но почтенная дама не замедлила узнать своих старых питомцев и самым решительным тоном отказалась снова приютить их в своем кошельке. Дребезжащий голос старушки раздавался по всей комнате и созвал толпу любопытных к карточному столу. «Не беру, не беру обрезанных червонцев», — кричала она, отталкивая неполновесные деньги. Напрасно Елизавета Дмитриевна защищала свое право платить ей теми же червонцами которые, выиграв, брала от нее. «Не знаю, от меня или от кого другого вы получили эти деньги, а коли от меня, так ваша добрая воля была их брать, а я, баронесса, прежде чем взять, разглядываю каждый червонец. Армяне скидывают с них по целому абазу», — повторяла Катерина Акакиевна взволнованным голосом. И баронесса не превозмогла ее упрямства, а была принуждена, для прекращения спора, вручать ей расплату блестящими, новоотчеканенными золотыми кругами.

Ежели случайным образом между русскими дамами не существовало в то время более привлекательных личностей, зато грузинский круг заключал целый ряд таких представительниц прекрасного пола, которых забыть было бы грешно. Что до меня касается, то я помню их всех, помню молодых и помню старых, и воспоминание о них, подобно радуге после дождя и бури проясняют мысли мои, когда они невольно останавливаются на темных точках моей кавказской жизни.

Кто перечтет всех красавиц-грузинок того времени? Бывало, не знаешь на которой из них остановить глаза, когда они в приемный день чинно рассядутся в баронессиной гостиной. Хороша была графиня Симонич, а не хуже ее была княгиня Мана, у которой томные карие глаза светили душу согревающим лучом ничем невозмутимой кротости — и кто ее знал, тот может поручиться, как необманчиво было выражение ее прекрасного взгляда. В числе дам отличались еще замечательною красотой А., миловидная армянка, жена богатого и ревнивого мужа,

неразлучно при ней выставявшего на показ свою несимпатичную физиономию испуганного леопарда, и княгиня Туманова, которая так победоносно выдерживала сравнение со своею дочерью, считавшеюся одною из самых хорошеньких тифлиских девушек. А рой девиц как богато был наделен расцветавшими красотками! Кто не любовался стройною княжной Еленой и ее смуглою тонколицею сестрой Майко, живою как порох Сонею, дочерью графини Симонич, идеально-прекрасною Майко Кайхофо и княжною Амилохваровой, носившею прозвание Минервы за величаво-правильный очерк лица и стана? Кто не помнит Марью Ивановну, довольно полную, необыкновенно свежую девушку, с черными исполненными ума глазами, смиренно восседавшую возле доброй, краснолицей тетушки Тинии, эту Марью Ивановну, которая, вышед замуж за своего однофамильца, князя Дмитрия Орбелиани, в последствии сумела так хорошо устроить свою собственную жизнь и судьбу своей дочери? Пропускаю еще многих других, с которыми я познакомился позже или которые не принадлежали к обществу, собиравшемуся у баронессы. Тифлиский жилец того времени, читая так много знакомых ему имен, имеет полное право спросить, почему же я ни слова не говорю о двух лучших перлах тогдашнего круга грузинских красавиц, о солнце Грузии, о знаменитой Катеньке и о старшей сестре ее, Нине Александровне, которую за ее ангельскую доброту, не вдаваясь в метафору, можно было назвать существом истинно неземным. В Тифлисе их не было в начале 1832 года; я познакомился с ними после экспедиции и в своем месте наверное не забуду высказать все, что у меня осталось на душе от счастливых минут прожитых в гостеприимном доме их отца, князя Александра Герсевановича Чавчавадзе.

Я уже заметил, что тифлисское общество делилось по платью на два лагеря. В 1832 году не более четырех или пяти первоклассных грузинских фамилий одели своих дочерей в модное французское платье и дали им оттенок европейского воспитания. Сами грузины хранили национальный костюм, меняя его только на русский мундир, когда поступали в военную службу. Фраком и безобразною круглою шляпой они пренебрегали как снадобьем, решительно не соответствующим военной жизни, на которую в то время были обречены все кавказцы. В этом случае грузины, полагаю, поступали по законам вкуса и здравого смысла. Чуха с откидными рукавами, украшенная галуном, цветные шаровары, высокие, нечерненные сапоги и персидская баранья шапка лучше шли к ружью за спиной и к сабле при бедре, чем цилиндр и пальто, хотя бы самого вычурного покроя. Грузинки среднего сословия все без изъятия и многие из высшего круга также предпочитали народное платье, делая отступление касательно одной обуви. Женщины народного класса обували босую ногу в желтые сафьянные носки — места, сверх которых для улицы надевались туфли на высоких каблуках. В купеческих и в дворянских семействах первый шаг к цивилизации и к сближению с русскими начинался у прекрасного пола с ног, на которые в таком случае надевались чулки и башмаки. За переменой обуви неминуемо следовало изучение французской кадрили и русского языка, на чем, бывало, и останавливалась цивилизационная реформа. Грузинка, вступавшая этим путем на поприще модных затей, заменяла чадру мантильей, сохраняя впрочем все остальные части старинного убора: тавсакрави, вуаль, гулиспири и платы прежнего покроя. И хорошо она делала, не расставаясь без нужды с национальным платьем: на хорошенькой женщине оно красовалось не хуже французского, не подлежало моде и поэтому при всей нарядности своей отцам и мужьям обходилось несравненно дешевле. Длинный остромысый лиф и без корсета ловко охватывал складную талию грузинки, не стесняя ее натуральной гибкости; длинная и широкая юбка живописно застилала формы, достойные резца; широкий пояс с концами, опущенными спереди до земли, обвивал тонкий стан. Спина и плечи были закрыты, но вырезанный ниже груди лиф совершенно бы ее обнажил, если б она не прикрывалась полосой

шелковой материи другого цвета чем платы, носившей название «гулиспири». — покров сердца. Щекотливая стыдливость некоторых наших дам не находила примирительного оправдания для этой части грузинского женского костюма, недостаточно прикрывавшего проявление форм, которые, по мнению их, надлежало тщательно скрывать. Позволяю себе в этом случае вступить за грузинок и за их вполне стыдливое гулис-пири, грешившее против скромности отнюдь не более каждого, французской моды, бального платья. Головной убор у грузинок, «тавсакрави», признаться, мне не нравился. Узкая матерчатая повязка, надвинутая на самые брови, некрасивым образом закрывала лоб, зато легкий газовый вуаль и распущенные по плечам прекрасные волосы, заплетенные в множество тонких кос, служили украшением, довершавшим общую гармонию наряда. В холодное время грузинки надевали сверх ярко-цветного платья «катеби» шубку из красного или зеленого бархата с откидными рукавами, вышитую спереди золотом, жемчугом, а иногда и цветными камнями. Чадрой, про которую я говорил уже не раз, называлось белое полотняное покрывало, без которого грузинка в прежнее время, не смела выйти на улицу. Она накидывала его на голову и окутывала им стан, оставляя встречному любоваться одними глазами да узкою, маленькою ручкой, придерживавшею чадру на высоте алых губок.

К описанию грузинского женского костюма мне остается прибавить, что я под этим нарядом, выключая старух, почти не встречал положительно дурных женщин. Жаль, что красота их так скоротечна: развитая в двенадцать лет, в тридцать грузинка уже делается старушкою. Но и в этом отношении встречались замечательные исключения: стоит только вспомнить графиню Симонич, Марию Ивановну, Нину Александровну, княгиню Ману и Туманову.

Во второй половине июня, когда перевал через Крестовую гору очистился от снега, войска, долженствовавшие участвовать в предполагаемой экспедиции, стали переходить на северную сторону гор и собираться около Владикавказа. Кроме четырех пехотных батальонов, роты сапер и одной батареи на Линию были еще направлены пешая грузинская милиция и три пятисотенных полка конницы, набранной за Кавказом из грузин, из армян и из разноплеменного населения мусульманских провинций. Командиром грузинского конного полка был назначен князь Ясен Андроников; мусульманскими полками командовал: первым — князь Давыд Осипович Бебутов, вторым — Мирза-Джан Мадатов. Проходя через Тифлис, милиционеры отдыхали в нем по несколько суток, в продолжении которых новоприбывший Корпусной командир знакомился с этим новым для него войском, делая смотры и приглашая к столу беков, ханов и князей, поступивших в ряды его не только начальниками частей, но и простыми всадниками. После каждого официального обеда открывалась на площади перед домом барона Розена блистательная «Гамаша», в которой принимали участие кроме милиционеров и городские жители, линейские казаки и гайта-конвой Корпусного командира, сформированный при князе Паскевиче из турецких выходцев. С турками, сербами, болгарами, албанцами и прочими обитателями европейской Турции я был давно знаком, но чисто восточные племена составляли для меня совершенную новизну, и я не пропускал ни одной тамашы, ни другого удобного случая с ними знакомиться.

Тамаша по-грузински, джигитовка на языке линейских казаков, фантазия на алжирском диалекте, как многим должно быть известно, имеют одинакий смысл, означающий конную скачку, ристание,

сопровождаемые треском выстрелов и облаками дыма и пыли. В отношении разнообразия народных типов, блеска оружия и конской сбруи, богатства разноцветных костюмов, доброты лошадей, да и самой ловкости наездников едва ли в другом месте кроме Тифлиса можно было на Востоке видеть подобного рода фантазии. Не впускаясь в этнографическое исчисление всех представителей кавказского населения, выказывавших на тифлисской площади свое умение владеть конем и оружием, укажу на одни главные народности, резко отличавшиеся между собой видом, происхождением, верой, одеждой, вооружением, даже породой и самою наездкой своих лошадей. Тут гарцевали линейские казаки, черкесы, грузины, имеретины и мингрельцы, армяне, татары казахские и шамшадильские, карабахцы и шемахинцы, турки, курды, и между ними христиане, мусульмане, йезиды, поклонники духа тьмы и курды, отличавшиеся смесью поверий, близко подходящую к совершенному безверию.

Казаки и черкесы, в длиннополых черкесках с патронами на груди, обутые в суконные ноговицы и красные сафьянные чевяки, в лохматых бараньих шапках, с винтовкой в бурочном чехле, перекинутой за спину через правое плечо, при шашке и широком кинжале, скакали на неказистых, но крепких, неутомимых лошадях кабардинской породы. Маленькое черкесское седло и легкая тонкоременная уздечка видимо были приспособлены к дальнему походу, к жизни на коне. Не порывист их налет, но стойко встречают они противника, метко бьют из винтовки и рубят шашкой на убой. Лошади приезжены к покойному ходу, к быстрым поворотам, но не к прыжкам и дыбкам, только мешающим упорной, хладнокровной драке. Карабахцы в высоких персидских шапках из черной мерлушки, в чухах с закатанными рукавами обшитых галуном по всем швам, в высоких коричневых сапогах и шелковых, зеленых или красных шароварах, с перекрещенными на груди ремнями, покрытыми серебряными или золотыми бляхами, вооруженные длинными ружьями без чехла, перекинутыми через левое плечо, и кривыми персидскими саблями, казались неотразимыми наездниками. Персидские и карабахские рослые жеребцы, на которых высоколукие персидские седла и строгие узды светили серебром, золотом и дорогими камнями, нетерпеливо грызли удила и прыгали под седоками. Карабахцы бросались в атаку с быстротой урагана. Казалось, никакая скала не могла устоять против такого налета, а в сущности дело было далеко не так опасно. Казаки и черкесы выжидали атаку на месте, встречали карабахцев залпом из винтовок и, выхватив шашки, с гиком неслись в погоню за ними, потому что они никогда не выдерживали дружного огня и давали тыл при одном виде опущенных стволов. На площадке повторялось только то, что бывало в настоящем деле; каждый сохранял свойственную ему методу драться. Татарин налетает вихрем и также скоро уходит; «каштът» — бежать, по понятиям его есть своего рода молодечество. Казаки и черкесы, не имевшие обычая бросаться на неприятеля очертя голову, зато дрались упорно и, обратив его в бегство, гнались за ним далеко и рубили без пощады. Турки на своих тяжелых, крестообразных седлах, под которыми исчезали их лошади, обращали на себя внимание одними красными куртками да огромными чалмами, но как кавалеристы ни в каком отношении не могли равняться со своими родичами татарами и персиянами. Курдов, одеждой и вооружением схожих с турками, несмотря на их необыкновенно красивых лошадей арабской крови нельзя было признать за воинов; это воры и разбойники, способные только на ночной грабеж. Сто курдов не стоили десяти линейцев или черкесов.

Остается указать на грузин, и я припоминаю о них не без удовольствия. Одетые и вооруженные подобно карабахцам, с таким малым отличием, что непривычный глаз его и не заметит, они

несравненно храбрее всех татар и даже лучшие кавалеристы. В аванпостной службе и в разворотах малой войны они уступают черкесам и нашим казакам, но как храбрых и ловких наездников их можно назвать лучшими кавалеристами в мире, и по моему мнению грузин на коне, с саблею в руках, стоит двух венгерцев. Кто скакал смелее, кто бросал джерида ловчее грузинских князей? Не раз мне приходилось любоваться молодым Тархановым, как он на всем скаку своего золотистого жеребца, извиваясь змеей, ловил джерида, пущенный ему вдогонку, и, продолжая скакать, посылал его обратно прямо в грудь своего противника.

Кто сидел на лошади, знает, что на это нужна верность руки и глаза, которою немного всадников могут похвалиться. А кто в наездничестве мог равняться с Ясен Андрониковым? На всем скаку через площадь, имевшую не более двухсот шагов длины, он вынимал из-под себя седло и поднимал его над головой и, круто поворачив коня, накладывал его снова, подтягивал подпруги и усаживался прежде, чем достигал до другого конца. О пеших грузинах скажу позже, при случае; теперь упомяну только, что в полку их имелась также сотня одноплеменных с ними тушин, живущих на южном скате гор, у подошвы Барбалы, высоко выдвинувшегося из ряда смежных вершин, в соседстве с лезгинами, их родовыми врагами. Не без повода считали тушин самым храбрым народом в Кавказских горах. В одежде они отличались от грузин только плоскою войлочною шапкой, которую они носили вместо персидской «папахи», и тем, что берегли винтовку в чехле из волчьей шкуры. Тушин, находившийся в непрерывной войне с лезгинами, войне засад, грабежа и убийства, не любил драться издали и имел обыкновение после первого выстрела броситься на неприятеля с саблей или кинжалом в руке. Он имел привычку отрезать правую руку убитого противника и выставлять ее над воротами дома в знак победы и в угрозу своим живым врагам. В глазах европейца этот обычай может показаться несколько не деликатным, но на Кавказе, где нам не раз приходилось видеть не только руки, но и отрезанные головы, о нем судили менее взыскательно.

В последних числах июня обоз корпусной квартиры выступил из Тифлиса на Линию. На волю штабных офицеров было отдано следовать с обозом, ехать на почтовых или каждому идти отдельно мелкими переходами, только бы не опоздать на сборном месте ко дню прибытия Корпусного командира. Непреодолимое желание на свободе осмотреть чудную Военно-Грузинскую дорогу, по которой я в первый раз промчался на почтовых и не в лучшее время года, побудило меня пуститься в дорогу верхом, имея при себе одного казака и денщика с вьюком и с заводною лошадию. При полной свободе располагать временем по собственной воле, останавливаться и дневать где захочу, без писаря, без канцелярии, без бумажного дела я не помню веселее путешествия. Безоблачное небо над головой, вокруг яркая зелень полей и живописные горы располагали как можно более не расставаться с долиной Арагвы. Я ехал не прямою дорогой, а беспрестанно изыскивал объездные тропинки через лес и по горам, делал привалы, где оказывался хороший вид, останавливаясь ночевать в деревне, в которой меня заставал закат солнца и привлекало местоположение. Таким образом, пожалуй, я пропутешествовал бы гораздо долее, чем следовало, ежели бы в Пассанаури не нагнал меня Мирза-Джан Мадатов со своим полком и не напомнил мне, что мешкать не время. Настиг он меня в то время, когда я, выбрав тенистый лесок на берегу Арагвы, устроил в нем свой полуденный привал. Место ему понравилось, он остановил полк отдохнуть, пригласил меня к завтраку, а потом уговорил продолжать с ним дорогу, предложив разделить со мной свою собственную палатку.

Майор Мадатов, служивший в прежние времена переводчиком при Алексее Петровиче Ермолове, был человек честный, весьма неглупый и отъявленный весельчак.

Ермолов его любил, верил ему и во время своих походов и поездок не расставался с ним ни днем ни ночью и даже укладывал спать возле себя для того, чтобы всегда иметь его под рукой. Крайняя рассеянность была одним из его отличительных свойств. Сам Алексей Петрович рассказывал, что однажды ночью, во время сна он запустил ему в густые волосы свои пять пальцев и усердно стал чесать голову. Ермолов встрепенулся. «Мирза-Джан! Что ты делаешь?» — «А что? Ничего!» — «Как ничего?» — «Только свою голову чешу», и довольный делом и откровенностью своего ответа, Мирза-Джан повернулся на другой бок и снова заснул. При Паскевиче он поплатился за Ермоловскую милость: четыре года его продержали, как говорится, в черном теле и он, бедный, действительно высох и очень пожелтел, но к счастью не утратил веселого нрава. В управление Розена Мирза-Джан опять стал всплывать на поверхность служебной пучины. Поход с его полком был нескончаемый праздник. В нем служили милиционеры из так называемых татарских дистанций, армяне из Эриванской провинции, курды и йезиды.

Без всякого заметного порядка тянулись по горной дороге толпы всадников, одетых в самые яркие цвета; пошатываясь, плелись за ними сотня тяжело нагруженных катеров и вьючных лошадей. Серебром и золотом оправленное оружие, седла и сбруя как жар горели на ярком солнце. Музыка гудела, стучали маленькие барабаны, и по воздуху разносились гортанные звуки татарских напевов; горное эхо вторило переливам нескончаемых, томительных трелей, составляющих верх искусства для азиатского певца. Эта музыка, служившая людям сигналом к атаке, заставила меня понять отчего азиатцы с таким бешенством несутся на неприятеля; пронзительные звуки ее, раздражая нервы в высшей степени, меня самого приводили в такое непреодолимое волнение, что я был готов, очертя голову, скакать куда угодно, только бы уйти подальше от этого оглушающего визга и стука. Чуть расширялась дорога или встречалась поляна, и всадники, не мешкая, пускали во всю прыть своих лошадей, ружья начинали трещать без умолку, сколько Мирза-Джан ни запрещал жечь порох на воздух, приказывая беречь его для дела; но удержать людей не было возможности. Азиатцу нужны для веселия скачка, гик и пороховой дым. Ночной бивак представлял не менее любопытную картину. Кто не видал азиатского конного лагеря, не может себе вообразить беспорядка и шума, составляющих его неприменную принадлежность в отличие от лагеря европейских регулярных войск. Палатки различных величин, цветов и форм располагаются на лугу как нравится их хозяевами; около них пасутся жеребцы на длинных чумбурах, привязанных одним концом к задней ноге животного, а другим к колышку, воткнутому в землю. Ни на мгновение не умолкают ржание и взвизги жеребцов, слепившихся в драку; крики озабоченных хозяев вторят им. Большую зеленую палатку Мирзы-Джана, подбитую пестрою шелковою материей, разбивали как следует для начальника на самом видном месте, в центре бивака, пол устилали коврами и подушками; под потолок привешивали разноцветные персидские фонари; нукеры принимались за котлы и кастрюли, расставляли походные печи для печения «лаваша», тонких пресных блинов из пшеничной муки, заменяющих у персиян и у татар хлеб, скатерть, тарелку и салфетку, и часа два спустя начинался пир, продолжавшийся почти до рассвета. Тогда только мы засыпали на несколько часов. До сей поры не понимаю откуда у нас брались силы для такой гульбы. Всю ночь разносили плов, шашлык, сладости, кофей и азарпеш,

до края наполненная душистым кахетинским, не останавливаясь обходила многолюдный круг гостей. Только и слышалось: «Алла-верди» — Бог дал — обращаемое от соседа к пьющему соседу, и обычный ответ: «Якши-иол» — добрый путь ему, то есть выпиваемому вину. Мирза-Джан не только был воин и драгоман, он хранил в глубине души огонь поэзии и, подобно Гафизу, сочинял персидские стихи и песни в честь вина и красоты. Неразлучно при нем находившийся хорошенький мальчик-певец, по имени Бадам, имел обязанностью услаждать слух гостей, распевая стихи, сложенные его господином. А после того, едва успевали сомкнуть глаза, как звук зурны подымал нас на новый поход. Протирая глаза, полусонные, дрожа от утреннего холода, мы садились на лошадей и шли дальше.

Четверо суток я провел таким образом в обществе Мадатова, его полкового адъютанта, Нижегородского драгунского полка поручика князя Чегодаева и разных ханов и беков, пивших и гулявших вопреки закону Магомета нисколько не хуже каждого гяура-винопийцы и свиноеда. Не доходя пяти верст до Владикавказа, второй мусульманский полк стал лагерем возле первого полка на широком и привольном лугу, выбранном для них на берегу Терека, а я поехал в крепость, где меня уже ожидали квартира и канцелярия генерального штаба, с длинными столами, скамьями и кипами бумаг.

VI.

Во Владикавказе я застал уже в сборе всех офицеров, составлявших в то время весьма немногочисленную свиту барона Розена: его личных адъютантов барона Александра Евстафьевича Врангеля, Александра Ивановича Попова, ординарца графа Цукато и двух братьев поляков, князей П., которые оба к сожалению не оказались подходящими к духу и понятиям господствовавшим в нашем кругу и, к общей радости, скоро после экспедиции исчезли без следа. Должность отрядного дежурного штаб-офицера занимал ротмистр Дмитрий Алексеевич Всеволожский, всеми любимый и почитаемый за его усидчивый характер, за доброту и за храбрость, которую он от избытка скромности как бы стыдился выказывать. Кроме того, находились при штабе еще несколько очень хороших, но менее заметных офицеров, о которых не могу припомнить в настоящую минуту. Генерального штаба штабс-капитан Норденстам, заболевший в Тифлисе, и адъютанты Корпусного командира Миницкий и Языков, сколько помнится, приехали во Владикавказ не прежде начала августа.

Недолго пользовался я во Владикавказе свободною жизнью и бездельем, позволявшими отлучаться в лагерь к Мирзе-Джану и к князю Бебутову, у которых мне очень понравилось проводить время посреди совершенно для меня нового азиатского разгула. На третий день приехал начальник штаба, и меня потребовали к нему прямо с веселого обеда в татарском лагере. Освежив голову холодной водой, я пошел к докладу, сколько помню ничего не спутал и вернулся на свою квартиру с туго набитым портфелем.

С той поры от раннего утра до поздней ночи мне приходилось сидеть за бумагами, прислушиваясь к скрипу писарских перьев, вместо голосистых песен, так сладостно ласкавших мой непривычный слух. Окончательные приготовления к экспедиции, которую барон Розен намеревался лично командовать, требовали ускоренного исполнения, и Вольховский не имел привычки давать в подобном случае отдых себе или другим. Вечером 9-го июля Корпусной командир прибыл во Владикавказ, нашел все в желаемом порядке, и одиннадцатого, рано поутру, в сопровождении всего штаба и сотни линейских казаков Моздокского полка поехал обратно по Военно-Грузинской дороге.

В ясное летнее утро, когда на небе нет ни облака, перед жителями Владикавказской крепости раскрывается одно из тех живописных зрелищ, для которых туристы в жажде новых впечатлений переплывают моря, чтобы раз взглянуть и пометить в путевых записках, что они собственными глазами убедились в неподражаемой красоте поразительно величавого вида, исключительно принадлежащего такой-то точке земного шара.

И действительно, не легко вообразить картину более величественных и громадных размеров как вид кавказских гор из Владикавказа.

Почти отвесная стена неизмеримой вышины рисуется светло-синими оттенками на прозрачном полотне недалекого горизонта, подпирая небо фантастически вырезанными зубцами; это гранитный хребет Гай. От подножья его лесистые горы темно-зелеными волнами спускаются к берегам Терека и ко Владикавказу. Над зубчатым венцом воздымаются, блистая девственной белизной вечных снегов, великаны главной цепи, отделенной от параллельного с нею Гайского хребта глубокими ущельями, образующими ложе верховых притоков Ассы и Фартанги. В этих ущельях и на высоте крутых отрогов снегового хребта обитали галгаевцы, небольшое общество кистинского племени, приставшие к Кази-Мулле, когда он весной появился в окрестностях Владикавказа. В довершение своей измены, они убили пристава, поставленного над ними от нашего правительства, и двух русских священников-миссионеров и стали спускаться для грабежа на Военно-Грузинскую дорогу. Такого рода неприязненные поступки требовали примерного наказания. По причине малочисленности и крайней бедности галгаевцев нельзя было считать опасными противниками, и приведение их в покорность должно было обойтись без большого кровопролития; но места, которые они занимали в самых высоких и крутых горах, считались у горцев совершенно недоступными для русских войск. Упираясь на это укрепление, галгаевцы дерзко отвергали все предложения покориться добровольно и выдать головой разбойников, убивших пристава и священников.

Необходимость уничтожить веру горцев в силу их притоков и доказать им примером, что для русского войска нет неприступных мест и непроходимых дорог, была очевидна; поэтому Корпусной командир решился с небольшим отрядом в три тысячи пятьсот человек лично идти для наказания галгаевцев, хотя по всем показаниям в земле их существовали одни тропинки, не всегда удобопроходимые даже для пешего человека.

За Балтой, верст пятнадцать вверх по Тереку, нас ожидали назначенные в состав отряда два батальона Эриванского карабинерного полка, батальон Тифлисского пехотного и батальон 41 егерского полков, двести линейских казаков Моздокского полка, пятьсот человек осетинских конных и пеших милиционеров и четыре горных орудия. По русскому обычаю отслужив сперва молебен, Корпусной командир проехал по рядам, поздоровался с солдатами, поздравил их с походом и приказал, не упуская утренней прохлады, начать движение. Барабан ударил переправу, и войска стали переходить с левого на правый берег Терека, по мосту, устроенному на козлах. Прекрасная погода и новизна всего, что происходило перед нами, кавказскими новичками, поддерживали наше общество в самом веселом расположении; для старых кавказцев подобного рода экспедиция была знакомое дело, хотя и им не зачастую приходилось идти на такие высокие горы. Солдатики, подобрав шинельные полы, по кавказскому обыкновению в фуражках, без ранцев — вместо них через плечо сухарные мешки — шли весело на привычную им работу. Отряд поднялся налегке, без палаток, без повозок, которым в Галгае не было ходу, имея в мешках сухарей на шесть суток и на десять во вьючном транспорте. Штабные палатки, которые предполагали возможным провезти на вьюках, принуждены были оставить на второй ночлег под прикрытием тифлисского батальона и половины осетин; затем оставлены при отряде только три палатки для Корпусного командира, для начальника штаба и для канцелярии.

Не далеко мы ушли колонной, недолго провезли на колесах наши легонькие трехфунтовые единороги; уже на четвертой версте оказались опасные косогоры, дорога сузилась, и войска были принуждены растянуться в нитку; орудия пришлось поднять на вьюки. Несмотря на свою малочисленность отряд занял весьма большое протяжение: от головы до хвоста колонны можно было насчитать до пяти верст. Первый день обошелся самым мирным образом. Мы прошли мимо одного пустого аула и, сделав несколько более десяти верст, остановились возле второго, также покинутого селения. Галгаевцы побросали свои жилища и бежали с семействами и стадами в малопрístupные расселины снегового хребта, откуда по мере нашего приближения уходили все выше. Для наказания их нам оставалось только разорять аулы и косить их скудные посевы, обращавшиеся на прокорм наших лошадей. Уничтожить аул было не легкой задачей; сакли, сложенные из плит и крытые шифром, представляли мало пищи для огня; поэтому приходилось их раскидывать, работая ломом и киркой. Кроме того, почти в каждом большом селении встречались высокие башни так прочно сложенные из тесаного камня, что наша горная артиллерия оказалась против них вовсе недействительною. Эти башни можно было уничтожить лишь взрывом, но закладка мин стоила невероятного труда по причине каменистого грунта, на котором они стояли. По способу каменной кладки и по кресту, высеченному на каждой башне, постройка их принадлежала к тому времени, когда грузинские цари господствовали в горах с одиннадцатого по конец тринадцатого столетия и когда знаменитая царица Тамара, обращая в христианство осетин и соседних с ними кистинцев, принуждена была в нагорных аулах возводить подобные башни для грузинских гарнизонов, имевших задачей удерживать новообращенных христиан в повиновении и в страхе Господнем. В 1832 году кроме этих каменных остатков между горцами центрального Кавказа не сохранилось другого следа христианской веры. Магометанство к ним не проникло, и поэтому они находились в состоянии совершенного безверия. Бедно и дико жили они в своих заоблачных аулах, лепившихся по скалам подобно орлиным гнездам; редкий из них доживал до старости — грабеж, разбой, тайные убийства и канла укладывали одного за другим в раннюю кровавую могилу.

На втором переходе мы еще кое-как провезли артиллерию на вьюках, и полковник Засс, командир Моздокского казачьего полка, имевший начальство над авангардом отряда, перетащил даже своих трех верблюдов, навьюченных кибиткой и прочею кладью; но продолжать движение с тяжестями оказалось столь затруднительным, что в селении Шуани принуждены были покинуть не только вьюки, но и заводных верховых лошадей. Тифлисского полка майору Борейше поручили начальство над устроенным здесь вагенбургом. Чем далее углублялись мы в горы, тем хуже становилась дорога. Тропинки, взвиваясь на крутые гребни или пролегая карнизом вдоль отвесных скал над пропастями страшной глубины, едва имели ширину, потребную для людской ноги и для конского копыта.

В местах, размытых дождевыми потоками, часто случалось, тропинка совершенно прерывалась, и тогда приходилось терять не мало времени, отыскивая обход по скалам или по грудам скользких камней. Тела орудий, колеса и лафетные станины попривязали к длинным шестам и роздали нести солдатам. Пешие осетины шли в голове отряда, указывая дорогу. Их легкое вооружение, одежда и обувь, совершенно приносившие к горной жизни, позволяли им шутя пробираться через самые опасные места и не хуже диких коз прыгать по скалам, на которых они родились. Но можно ли оставить без внимания ту спокойную уверенность, с которою русский, на плоскости взращенный солдат, с тяжелым ружьем на плече, провиантом за спиной, в длиннополой шинели и в неуклюжих сапогах, прошел по галгаевским тропинкам и вскарабкался на скалы, до тех пор считавшиеся доступными для одних туров да кавказских горцев? Вспомнив об осетинской обуви, не могу не указать на преимущество ее перед тяжелыми ботинками с толстою, гвоздями усаженною подошвой, употребляемыми для горной ходьбы в Швейцарии, Штирии, Тироле и прочих гористых европейских землях. Осетины и вообще все кавказцы, живущие в высоких горах, носят самые легкие чевяки из телячьей кожи, подбитые вместо подошвы переплетенными сыромятными ремнями. Гибкая ременная подошва поддается всем движениям ступни и не скользит по камням, цепляясь за самую незаметную шероховатость. С этою легкой и цепкою обувью можно лазить в таких местах, где в сапогах, подкованных гвоздями, неминуемо оборвешься. В кавказских горах я сам носил осетинскую обувь и по опыту знаю, как она легка и удобна; после нее каждый сапог покажется гирей, привешенною к ноге.

На пятые сутки мы дневали на верховье Ассы, близ селения Зоти. Войска стояли биваком на широком луговом скате; ниже нас лежал обширный аул, в котором саперы трудились над закладкой мин под две огромные башни; за селением вековой лес примыкал к подножию скалистого контрфорса снегового хребта; вправо и влево висели над нами, забравшись под облака, купы тесно сплоченных галгаевских скопищ, ускользавших от разорения благодаря своей малочисленности и высоте, на которую не стоило посылать солдат для такого неважного дела.

В этот день раздались первые неприятельские выстрелы. Галгаевцы завязали перестрелку с осетинами, расположившими свой лагерь слишком близко к лесной опушке, и ранили у них двух человек. Зассу было приказано с двумя ротами поддержать осетин и выгнать неприятеля из лесу. Прикомандированный к Зассу граф Цукато и я, более из любопытства чем по обязанности, сочли

долгом не отстать от авангардного командира. Галгаевцы, подпустив к опушке, дали по нашим людям несколько выстрелов и после того обратились в бегство. Часа три гнались мы за ними, сперва по лесу, потом по скалам и наконец по снегу, где нас накрыло таким густым туманом, что в десяти шагах нельзя было разглядеть человека. Поняв бесполезность погони в снегу и в облаках за нашим легконогим неприятелем, мы пошли обратно, отхватив у него только двух усталых, в снегу брошенных ослов.

На обратном пути я сделал неосторожность, которая мне легко могла стоить жизни, но к моему счастью обошлась одним испугом. Узкая тропинка, по которой нам следовало возвращаться, огибала крутобокое ущелье. По каменистому дну его прорывался быстрый поток, в тысяче шагов от своего начала ниспадавший в пропасть, усеянную обломками скал. Водопада не было, струя прерывалась, в глубину летала одна серебристая водяная пыль. Предоставив солдатам идти по обходной дороге, осетины перерезали ущелье в самом устье, переправились через поток немного выше падения его и без дороги стали взбираться на высокий, щебенистый, унизанный скалами гребень, отделявший нас от лагеря. Полковник Засс, хромавший от старой сабельной раны, повредившей ему мускул правой ноги, несмотря на это пошел вслед за осетинами, опираясь на двух безотлучно при нем находившихся казачков, братьев-близнецов, Егора и Ивана Атарщиковых. Местами они были принуждены, отыскав опору для своих ног, ложиться на спину и, подавая Зассу ружье, ежели не доставала рука, втаскивать его таким способом на крутую и скользкую покатошь горы. В числе офицеров, пошедших с Зассом, находился и я. Нетерпеливо взбираясь на гору, я скоро опередил не только своих русских товарищей, но и самих осетин, беспрестанно кричавших мне на ломаном русском языке идти осторожнее. Подъем вдоль крутой и острой ребровины, засыпанной шифровым щебнем, на котором нога скользила, был труден и опасен. Нередко приходилось цепляться руками за встречные скалы или прыгать с камня на камень. В то время незнакомый с головокружением и надеясь на свои силы, я не обращал внимания на предостережения осетин и продолжал идти скорым шагом. Верх горы был уже близок. Мелкие камни вдруг покатались из-под моих ног, я поскользнулся, падая ухватился за край большого камня и на руках повис над пропастью. По какому-то непонятному влечению взгляд мой опустился в глубину, в глазах потемнело, дыхание сперлось, руки задрожали, пальцы стали скользить. Еще несколько секунд и мне грозило страшное, безнадежное падение. Смерть казалась неизбежною, а умирать не хотелось. В это мгновение любовь к жизни взяла верх над страхом смерти. С быстротой мысли и силой отчаяния понапружились все мускулы, я уперся руками и коленами и понять не могу, каким чудом стоймя очутился на камне, за который ухватился в минуту падения. Почувствовав под собой твердую опору, я глубоко вздохнул и медленно оглянулся во все стороны, стараясь поверить, действительно ли опасность миновала.

Полковник Засс и осетины, следившие за мной глазами, когда я так опрометчиво взбирался на гору, тотчас увидели и поняли всю опасность моего положения. Помощь была невозможна; гибель и спасение зависели для меня от одного мгновения. Все стали как вкопанные. Засс готов был вскрикнуть. Стоявший возле него осетин закрыл ему рот, шепнув: «Одно громкое слово и офицер пропал, выждем, как решит Аллах». Громкий крик удивления приветствовал мое спасение, когда увидели, что я стою на камне твердою ногой. Осетинский старшина Магомет-Кази догнал меня в несколько минут. «Теперь пойдем потише, — сказал Магомет, подавая мне руку, — не дам тебе идти одному, ты слишком нетерпелив, а в наших горах надо ходить осторожно, как

раз оставишь свои кости на съедение волкам да воронам». С этого времени он очень со мной подружился, и я теперь еще берегу черкесскую шубку, подаренную мне Магометом, двадцать пять лет тому назад в память тех дней, когда мы вместе исходили галгаевские горы и чеченские леса.

Между снеговым хребтом и горою Гай открывался глубокий бассейн, перерезанный отраслями обоих хребтов, посреди которых изливались верхние притоки Ассы и Фартанги, двух рек, прорывающихся сквозь горы в северном направлении на соединение с Тереком, принимающим их с правой стороны в свое широкое ложе. На обширных луговых скатах, опускавшихся от подножия каменистых гор к ложу потоков, дающих началоASSE и Фартанге, встречались весьма удобные лагерные места, и отряд мог двигаться походною колонной, пока крутой овраг или поперечный гребень снова не понуждали, человек за человеком, лошадь за лошадью, тянуться по своей головоломной дороге. В открытых долинах кавалерия опережала отряд версты на две и более для наблюдения за неприятелем, причем мне приказано было постоянно следовать с конным авангардом, наблюдать за топографом, снимавшим маршрут, и выбирать место ночлега под войска главной колонны. Восемь дней прошло от начала движения, а неприятеля мы еще не видали и даже наверно не знали, куда он девался. Нельзя было считать встречами, когда у осетин из лесу ранили двух человек, и мы напрасно забежали в облака, и когда другой раз три галгаевца забавлялись, пуская в нас камни с ужасной вышины, причем дело обошлось без самого невинного ушиба. Скучно становилось без драки лазить по горам, ночевать под открытым небом на сырой земле, мерзнуть ночью, когда приходилось стоять на высоте, днем вариться на солнце и к тому еще кормиться самым плохим образом. Вещей и припасов мы не взяли с собой из вагенбурга более, чем могло поместиться в саквах, привешенных к седлу у драбанта — так называли на линии прикомандированного к офицеру казака — или сколько были в силах нести пешие денщики, поэтому не богато были снабжены даже самыми необходимыми предметами походной жизни. Чай, сахар, табак быстро исчезали, а подвоза нельзя было ожидать ни с какой стороны. Для адъютантов корпусного командира лишения существовали только на половину, они пользовались столом у своего начальника, да и нам с графом Цукато было не совсем плохо. Засс, при котором мы постоянно находились, был кавказский старожил, поэтому предугадлив и сверх того, как казачий полковой командир, располагал способами позволявшими ему кормить нас довольно порядочно. Полагаю, мы некоторое время жили не хуже его высокопревосходительства господина Корпусного командира, у которого метрдотель — не хочу отнимать его достоинства — имел замечательный талант устраивать стол в плоских, обитаемых странах, где водятся города да деревушки, а не навык еще находить, что нужно, и там, где, кажется, ничего нет. Знаю, что у барона Григория Владимировича под конец не стало хлеба, и он у солдат покупал сухари за дорогую цену, а у нас водились еще кое-какие хотя черствые корки; видел я, как у него в безлесных местах перед палаткой едва теплились несколько хворостинок, а у Засса — вокруг один камень — вырастал шалаш из хвороста и бурок, в котором хотя и тесновато было, но лежалось сухо и тепло, а перед входом его весело пылал видный костер. Линеец чутьем дознает, что его ожидает впереди, и по дороге не пропустит ничего, что может сделаться пригодным на месте. Неприятель зароет зерно: казак его отыщет; в лесу загнездятся брошенные, полудикие куры: казак за версту услышит их квохтанье и, глядишь, бедняги уже висят у него в тороках. Плохо в полном смысле приходилось полковым офицерам да солдатам, которые уже третьи сутки не видали мясной пищи и питались сухарями и водкой. Небольшое число волов, следовавших за колонной, были съедены в первые пять дней, а неприятельских стад, на которые рассчитывали для продовольствия отряда, мы в глаза не видали. Это было не совсем приятно, но мы

довольствовались и тем, что погода нам не изменяла. Ярким светом обливало июльское солнце волнистые луговые горы, по которым мы с сотней казаков и сотней конных осетин далеко впереди главной колонны открывали дорогу к селению Цори, лежавшему перед нами за крутым отрогом горы Гай. Корпусной командир намеревался примерно наказать цоринцев за их грабежи на Военно-Грузинской дороге, то есть выкосить поля и не оставить в ауле камня на камне. На половине дороги нас догнали два осетина и какой-то очень оборванный горец с запиской от начальника штаба на имя полковника Засса следующего содержания: «Галгаевцы, как доносят лазутчики, спасли свои семейства и скотину на высоту горы Гай, где намерены защищаться. По приказанию господина Корпусного командира, прошу ваше высокоблагородие, пользуясь оплошностью неприятеля, занять с авангардом означенную гору. При сем препровождается к вам для указания дороги кистинец, знающий местность».

В этой записке все было ясно и положительно, кроме одного пункта — оплошности неприятеля. В чем заключалась эта оплошность? Лазутчики могли видеть неприятеля за ночь, когда мы находились от него довольно далеко, и ему нечего было нас бояться. Разве вчерашняя беспечность не могла сегодня, с приближением отряда, перейти в зоркую бдительность?

Наши глаза обратились на Гай-гору.

Волнистый, изрытый оврагами, усеянный скалами всех форм и размеров травянистый скат, боронованный отвесною гранитною стеной не менее тысячи футов вышины, открылся нашему взгляду. Крутизна ската возрастала по мере его возвышения. Гранитный вал, на который нам следовало лезть, до половины был задернут облаком. Что скрывалось за непроницаемым туманом, волновавшимся над вершиной Гай-горы, знал один Господь.

Засс поморщился, погладил длинные рыжевато-серые усы; но вдруг приосанился на седле — он был молодец на лошади и отлично знал кавказские порядки — и спросил своим обычным, полушутливым, полуироническим тоном у присланного кистина:

— Где дорога на гору?

Кистинец разразился потоком гортанных звуков. Переводчик осетин стал перелагать на русский язык.

— Начало дороги ведущей по травянистому скату к верхним скалам осталась далеко за нами, отсюда часа два езды, а место где она сходится с тропинкой, пробитою вдоль отвесного восхода на вершину горы лежит перед самыми глазами.

— Можно ли добраться до скал без дороги, напрямик?

— Верхов невозможно, а пеший человек, полагаю, дойдет.

— А когда доберемся до верхней дороги, можно ли по ней ехать верхом и сколько человек могут идти рядом?

— Верхов никак! Кабы не стали стрелять, то лошадей можно б оглядкой провести в поводу, а так и пешему будет нелегко взойти — дорога тесная и на ней лежат большие камни.

— Есть ли другие пути на гору?

— Есть, гораздо правее, еще два подъема, но она много хуже; по ней опасаются гонять даже козлят.

— Много ли на горе галгаевцев? Лайдаки, говорят, спят.

— Много ли, сказать не могу. В Галгае наберется ружей шестьсот, но не все на горе спят там, когда русские так близко, кажись, не время. Мы их не видим, а они видят, все что мы делаем. Ружье бы не беда, — прибавил кистинец, — а вот что худо. — и указал на камни. — Станут на нас кидать.

Действительно, камень, пущенный с высоты, какая находилась перед нами, мог наделать порядочной беды и стоил любого ядра.

Кончив расспрос, Засс подумал с минуту, потом громко скомандовал: «Садись! Марш!» — и круто поворотил свою лошадь к горе лежавшей влево от нашей прежней дороги.

Находясь возле него, я не удержался спросить по-немецки, смеем ли мы ожидать успеха от нашего замысла, имея для занятия такой сильной позиции, закрытой от нас туманом и обороняемой хотя бы сотнею горцев, не более ста двадцати человек вместе с осетинами, когда люди спешатся и при лошадях будет оставлено необходимое число коноводов.

— Про это ничего не знаю. Мне приказано занять гору «пользуясь оплошностью неприятеля», — прибавил Засс, — иду ее занимать. А вы что намерены делать? Вы не состоите у меня под начальством.

— Идти с авангардом, как шел до сей поры, и принимать от вас приказания как от старшего.

На этом прекратился наш разговор.

Около версты мы проехали верхом, сначала прямо, а потом давая шпикато углы вправо и влево. Позже мы повели лошадей в поводу и, высмотрев на полугоре широкую скалу, поместили их за нею, а сами пошли, разделившись на две партии, осетины налево, казаки направо, предполагая соединиться у подошвы верхних скал и оттуда наступать уже соединенными силами. Было приказано хранить глубокое молчание и на случай встречи с неприятелем не терять времени на перестрелку, а очищать себе дорогу шашкой. С каждым шагом гора становилась круче, пришлось ползти на четвереньках, цепляясь руками за кочки и за камни. В это время облака, как бы на зло нам, колыхаясь, стали опускаться и сперва скрыли осетин от наших глаз, а потом накрыли нас самих густым, мокрым туманом. Десять минут спустя защелкали влево от нас выстрелы, раздался крик, и потом все утихло.

Осетины наткнулись на неприятельский караул; наше движение было открыто. На мгновение мы приостановились, прислушиваясь и вглядываясь в туман, в котором едва могли видеть своих собственных рассыпанных по кособокому казак; нетерпеливо хотелось узнать, что будет дальше.

Недолго продолжалось наше неведение. Над нами послышался резкий свист, и мимо пролетел камень, прыгая по крутому скату горы; вслед за ним летели другие камни.

«В гору, казаки! Живо вперед, молодцы», — закричал Засс и, ковыляя раненою ногой, цепляясь ногтями, стал карабкаться на крутизну; Цукато и я едва поспевали за нашим хромоногим командиром. В это мгновение гора дрогнула, громовой удар разразился над нашими головами, камни посыпались градом; обломки скал, рикошетируя по скату, бороздили землю, дробились и сыпали во все стороны свои смертоносные осколки. В тумане раздались крики и стоны. Недалеко от нас камень огромной величины налетел прямо на казака, дал рикошет, и на том месте, где прежде был живой человек, осталась в землю врытая масса крови и мяса. Десять шагов дальше не было видно, кто ранен, кто убит. Гром усиливался, камни ложились около нас все гуще да гуще, Засс не переставал кричать: «Вперед!» Люди лезли на гору. Графа Цукато ударило осколком в плечо, он упал, сшиб меня с ног, и мы стремглав покатались под гору, напрасно стараясь уцепиться за гладкую почву. Я ободрал себе все ногти. К счастью, ниже находившиеся казаки, перерезав дорогу, остановили наше падение. Засс, увидевший как мы оба разом упали, счел нас убитыми и так был поражен этою мыслью, что у него, как он признавался позже, совершенно

невольно вырвалось приказание: «Казак, стой! За скалу!» Вправо от нас шпилем торчал высокий камень, имевший шагов двадцать в основании. Во мгновение ока сплотилась за ним человеческая масса, унижавшая на поверхности лохматыми шапками и ружьями, торчавшими во все стороны подобно ежовой щетине. Под камнем был мертвый угол, укрывавший от ударов, посылаемых сверху шагов на восемь. На этом пространстве прижалось нас человек шестьдесят. Пятерых, сколько помню, не досчитались. Несколько казаков, несмотря на опасность, поползли отыскивать подшибленных. Положение наше и за скалой было не совсем приятно. В густом тумане, между небом и землей, вдали от всякой помощи мы тянули время в томительном ожидании неотразимого неприятельского нападения. Против нашей полусотни неприятель мог выставить несколько сот ружей; все выгоды были на его стороне, он знал местность и владел неприступною высотой. Куда девались осетины, нам было неизвестно.

Тем временем камни продолжали валиться с горы, свист и грохот оглушали нас; случилось, огромный гранитный обломок ударял в вершину нашей спасительной скалы и она, вздрогнув, начинала покачиваться: того и гляди накроет на вечные времена. У всех лица вытягивались; даже Засс перестал шутить и трунить, кажется, он шептал про себя молитву; казаки, те молились громко, и каждый призывал на помощь святого, к которому в чувстве душевного смирения он привык обращать свое упование.

Опыт доказал совершенную невозможность продолжать наступление: не много бы нас дошло до верху, да и тех неприятель мог встретить на узкой тропинке и одного за другим сбросить с высоты; оставаться за скалой было опасно и ни к чему не вело; отступить без приказанья Засс не хотел. Я предложил избрать средний термин: написать к начальнику штаба записку с просьбой о подкреплении или разрешении отступить сегодня с тем, чтобы завтра возобновить атаку. Засс согласился на мое предложение, и через десять минут два казака побежали под гору с категорическим объяснением нашего положения.

Пока мы ждали ответа, камни не переставали валиться с горы, то по одиночке, то засыпом, напомиравшим первые моменты нашей атаки. При каждом новом каменном урагане, заставлявшим колебаться скалу, за которою мы скрывались, проводник кистинец морщился, издавая какие-то непонятные звуки.

— Что бормочешь? — спрашивали через переводчика.

— Что бормочешь! Станешь бормотать, когда смерть близка. Много я воевал в горах, а такой страшной беды не видал. Не сдобровать нам! Пожалуй, в тумане и не доглядишь, как набегут галгаевцы да станут стрелять со всех сторон; а они бьют метко и очень злы: никого не пощадят. Зачем было идти так мало? Позади много солдат и ничего не делают.

Касательно беды я был готов согласиться с кистинцем. За год перед тем два дня сряду гул варшавских батарей и свист польских ядер раздавались в моих ушах; но гром стоорудийных батарей рассылавших под Варшавой гибель в наши и в неприятельские ряды можно было признать довольно сносною музыкой сравнительно с отвратительным, душу потрясающим грохотанием гранита, летевшего на нас с высоты Гай-горы.

Тем временем, не далее двух ружейных выстрелов осетины также сидели на полугоре за скалами. Местность выдалась таким образом, что все камни, бросаемые с вышины, минуя их, летели к нам. Кроме того, туман, прояснившись со стороны, открыл им вершину горы. Они видели, что на ней происходило, и о каждом посылаемом к нам гостинце предупреждали нас криком: «дур-дур» — берегись.

Осетинское «дур-дур» так глубоко врезалось в память имевших удовольствие 19-го июля просидеть на Гай-горе, что долгое время спустя, услышав «дур-дур», нередко пущенное на воздух с целью над ними позабавиться, они невольно вздрагивали и бросались в сторону, полагая что камни снова летят к ним на голову.

Часа полтора мы уже прождали, а ответа еще не было.

Изредка пролетал мимо нас камень, как бы пущенный только в ознаменование того, что на горе не дремлют. Неожиданно нарушилось это бездействие. Гора заходила ходнем, загудели камни, засвистали осколки. Наклонив головы, прижавшись к скале, просидели мы около двадцати минут, не слыша собственного голоса от страшного шума и не понимая почему неприятель так расхотелся, когда мы сами и не думали трогаться с места. После того Гай-гора совершенно замолкла; это был последний акт представления, в котором судьба заставила нас разыграть довольно незавидную роль. Ротмистр Всеволожский, прибывший к нам скоро после того с приказанием отступить, разъяснил причину последней грозы, разразившейся над нами с такою неожиданною силой. Владимир Дмитриевич Вольховский лично двинулся подкрепить нас одним егерским батальоном, но был встречен таким густым градом камней, что немедленно остановил движение, убедившись в невозможности занять гору при настоящих обстоятельствах, вследствие чего и поручил ему отыскать и привести обратно в лагерь нашу слабую команду. Пока успели наступить сумерки. Пользуясь темнотою и взяв предосторожность идти один за другим не ближе пяти шагов, на случай, если бы неприятель вздумал преследовать нас камнями, мы отступили без всякой потери на обратном пути. В лагере все без исключения радовались счастью, позволившему нам отделаться так дешево. Кроме потери, о которой я уже сказал, у осетин оказались еще двое раненых и несколько подбитых казачьих лошадей. Рана графа Цукато была не опасна. Камень ударил вскользь, вырвал мясо, но не повредил кости. Это уgomонило на несколько дней его воинственные порывы, потому что он имел привычку кидаться повсюду, где только раздавался выстрел.

После этого утомительного дня нам не удалось даже отдохнуть как следует. На другое утро барабан разбудил нас далеко до рассвета. Отдано было приказание с восходом солнца атаковать гору разом тремя колоннами: пехоте по нашей вчерашней дороге, осетинам и двум сотням спешенных казаков правей, по подъемам, на которые указывал наш проводник. Утро было прекрасное. Зубчатая вершина Гай-горы, чистая от облаков, ярко освещалась лучами восходящего солнца. На верху чернелись люди.

По сигнальному пушечному выстрелу, войска полезли на гору. Озадаченный неприятель пустил в них без вреда несколько огромных камней и потом исчез; он истощил накануне весь запас камней, заранее приготовленных им на гребне горы, и теперь не надеясь на одну ружейную оборону, бросился спасать свои семейства.

На высоте перевала ожидало нас непривычное зрелище: над нами чистое голубое небо и ясный день, под ногами взволнованное облачное море, из которого возвышались одни остроконечные вершины окрестных гор. Владикавказ, Терек и Линия, видные отсюда в хорошую погоду, были задернуты непроницаемым туманом. Вершина Гай-горы представляла обширную площадь, наклоненную к северу, от которой весьма некрутая дорога спускалась в глубокое лесистое ущелье реки Фартанги. Богатый ключ студеной воды, разливавшийся обильным ручьем, и густая, жирная трава, покрывавшая слегка покатый ровный луг, выполняли все условия, требуемые от хорошего лагерного места. На половине спуска чернелся сквозь туман покинутый жителями аул Гай. Пока я с помощью моего топографа расставлял войска, несколько казаков и осетин отправились пошарить в ауле и при этом случае открыли свежий след многочисленного стада, которое галгаевцы, уходя от нас, погнались вниз по Фартанге. По первому известию об этом важном открытии полковник Засс, всегда решительный в подобных обстоятельствах, не дожидаясь приказа от высшего начальства, схватил две ближайшие роты егерей и побежал с ними под гору, приказав в то же время сотне линейцев его догонять. Говядина была очень нужна для солдат, кормившихся уже несколько дней, как мною было сказано, одними черствыми сухарями. В виду совершенно для меня нового поиска за барантой я совсем забыл о существовании походной канцелярии и присоединился к казакам, никого не предупредив. Судя по следу, скотина не могла уйти далеко. Надеюсь догнать ее в нескольких верстах от лагеря, солдаты сбросили с себя сухарные мешки, казаки облегчили лошадей от сакв, и в поспешности мы забыли взять с собой проводника. Наш путь пролегал по ущелью Фартанги, скалистому в начале, а далее покрытому густым вековым лесом, сквозь который прорывался крутоберегий поток. В ущелье мы не могли ошибиться и без проводника, но ошиблись в дороге и на первых порах попали в такое тесное место, по которому нельзя было провести лошадей даже в поводу. Дорога, пролегая по скату горы, привела нас к навесной скале, составившей род жолоба, вдоль которого мы на расстоянии ста саженей принуждены были ползти на коленях. Спешив половину казаков и покинув наших лошадей, которых приказано было отвести в лагерь, мы не пошли, а можно сказать побежали вслед за стадом. Далее представилась нам новая преграда. Дорога уперлась в обрывистый берег реки, глубоко под нами кипевшей в своем тесном ложе; на другой стороне было видно продолжение тропинки. Моста не было. Сто шагов ниже огромная сосна, подмытая дождевым протоком, торча во все стороны обнаженными корнями и поломанными сучьями, перевалилась через ручей. Засс приказал переходить по сосне, и наши солдатики ловко перебрались на другую сторону по этому ногополомному мосту, кто твердым шагом, кто ползком, и никто из них не сделал опасного

прыжка в речку. Нужда и неохота поломать косточки научила их и без предварительной науки. За сосной опять ускорили шаг. Брошенный осел, потерянные кадушки и мешки с просом, наконец не поспевший за стадом, свежееубитый, к дереву привязанный теленок служили явными признаками близости неприятеля и поспешности, с которою он от нас спасался. Усталые, голодные, поддерживаемые одною надеждою добыть поживу, мы гнались таким образом более двадцати верст.

Под конец ущелье расширилось, лес прекратился, и перед нами явилась волнистая местность усеянная небольшими селениями, из которых слышался лай собак. Мы забежали к галашевцам, обществу гораздо сильнее и воинственнее Галгая; а нас было всего не более трехсот пятидесяти человек. Не оставалось тут времени задумываться.

В двух ружейных выстрелах перед нами пестрела на высоком холме рогатая добыча, ради которой мы так сильно себя измучили. «Скотина!» — крикнули казаки и солдаты, и откуда взялись прыть и сила. Обгоняя один другого, люди миглом обогнули холм для того, чтоб отрезать у стада дорогу в лес, затрещали ружья, пули зажужжали в воздухе, и вся наша ватага без удержу рванулась на высоту. Неприятель бежал в лес, пуская в нас на уходе безвредные выстрелы и побросав на лугу кадки и ведра со свеженадоенным молоком, с медом, мешки с просом, и другие пожитки. Голодные солдаты горстями глотали муку, руками и фуражками черпали молоко, которым и мы с Зассом не побрезгали после двадцативерстной гоньбы.

Около трехсот коров, несколько десятков коз и десять ешаков, достояние большей половины галгаевского населения, попались в наши руки. Они были разорены в конец.

Таков закон войны: сила была на нашей стороне, поэтому им следовало голодать, а нам принадлежало право набивать себе желудок их добром.

Однако не позволительно было долго мешкать на месте, имея за собой длинное, тесное и лесистое ущелье, а перед собой галашевцев в соединении с галгаевцами, которые, опомнившись от первого испуга, легко могли пересчитать нашу силу, и вследствие этого перечета через меру ободриться. По аулам уже стали раздаваться сигнальные выстрелы. Дав людям отдохнуть полчаса и утолить первый голод молоком и чем попало, Засс приказал идти обратно. Одна рота пошла впереди, за нею погнались скотину, в арьергарде остались другая рота и пятьдесят линейцев. Уморившись донельзя и износив в этот день подошву у моих единственных сапогов, я отправился в обратный путь на отбитом ешаке, без седла и без узды, пользуясь для управления его длинными ушами. Трудно было справиться: уши скользили в моих руках и он, наклонив голову, упорною мелкою рысцой бежал обратно в свою конюшню. Напрасно солдаты, которых мы опережали, старались его остановить, хватая за уши и за хвост: он урывался от них с непреодолимым упрямством. Едва успели мы войти в лес, как скотина, почуя дух родного стойла, смяла передовую роту, меня сбила с ешака, к счастью еще не под свои ноги, и густою фалангой пустилась пробивать

себе дорогу к Гай-горе. Страшная сделалась суматоха: люди кувыркались под гору, — правда не высоко, мы находились в начале ущелья — кричали, обороняясь от рогов и от копыт домолюбивых животных, и многие были порядочно помяты; но это нас не смущало: скотина не могла потеряться, она бежала прямо в отряд. Вся забота Засса была обращена на арьергард, откуда нам грозила более действенная опасность. Скоро наступила ночь, и в глубоком лесу нас застигла такая темнота, что мы принуждены были остановиться, попытавшись сперва пройти некоторое время, придерживаясь один за шинель другого, чтобы не растеряться. Собраться было невозможно, солдаты легли на землю, сбившись в отдельные кучи. Ночевали без огней, опасаясь неожиданного неприятельского нападения, и от этого не раз поднималась тревога. Караулы, выставленные от куч, не видя перед собой ни зги и стреляя по кавказскому обыкновению на шорох, беспрестанно открывали огонь друг против друга и только перекликнувшись позже узнавали, что имеют дело не с неприятелем, а со своими. Благодаря их лежащему положению пули, перелетая через голову, не наделали беды. Завернувшись в бурку, я лег на голыши высохшего ручья и заснул так крепко, что поутру меня долгое время качали и обливали водой, пока заставили раскрыть глаза. Вместо привычного чая, мне поднесли еще сонному ко рту кусок горячей жареной телятины и стакан ключевой воды; с нами не было ни хлеба, ни вина, ни водки.

Лагерь мы застали в густом тумане. Скотина была вся захвачена и частью уже роздана войскам на порцию; благодарность их заставила нас помириться с темной стороной нашей экспедиции. Лично я не имел повода ею похвалиться. Я устал до изнеможения, износил сапоги, которые пришлось заменить осетинскими чевьяками; а начальник штаба принял меня крайне не приветливо, даже промолвил слово об аресте. «Дело ли офицера генерального штаба гоняться за скотиной и помогать отбивать баранту? Это хорошо для казачьего командира, — говорил он указывая на кипу бумаг, привезенную нарочным из горцев во время моей беспросной отлучки. — Теперь извольте поправить свою необдуманность». И я поправил ее, работая весь день до позднего вечера. Не знаю, случалось ли кому из тех, у кого станет терпения пробежать эту часть моих воспоминаний, вести переписку в облаках, а я скажу им на всякий случай, что подобное дело очень не комфортно. По спине пробегает мороз, рубашка, пропитанная сыростью, липнет к телу, чернила расплываются по бумаге, желудок ноет, в голове туман не яснее, чем в атмосфере; а мысли должны неукоснительно следить за трудным смыслом самых разнородных донесений и сообщений, на которые следует отвечать; форма должна быть соблюдена, запятые имеют находиться на своих местах. Благо еще, что не Иван Иванович контролировал слог и знаки препинания; Вольховский все-таки имел более грамматической правилотерпимости. Памятна осталась мне эта стоянка в облаках. К величайшей радости на другой день, когда мы перевалились через Гай-гору обратно и пошли к Цори, летнее солнце, прорвав сырую завесу тумана, снова прогрело наши окоченевшие члены.

В это время мы набрали опять на одну из тех тропинок, с которых нельзя своротить ни вправо, ни влево, и обогнать впереди идущего человека положительно невозможно. Отряд тянулся бесконечною нитью, лошадь за лошадью, солдат за солдатом. В голове шли саперы и два батальона Эриванцев, в хвосте кавалерия, прикрытая сзади егерским батальоном Резануйлова. В центре колонны солдаты несли артиллерию на руках и ехал Корпусной командир со штабом. Ничего не может быть скучнее и утомительнее подобного шествия, особенно для конного. Пеший бережет одного себя, конный принужден беречь себя и лошадь, беспрестанно остерегаясь

наехать на товарища и оглядываясь чтобы на него самого не наехала сзади, не испортили лошади, или не сбросили его с горы. Один человек остановится, и все за ним идущие должны стоять. Часа три уже мы томились таким образом, думая только об одном, как бы не оступилась лошадь. По расчету времени голова колонны должна была подходить к Цори, откуда, по показанию проводников, дорога спускалась в долину удобную для расположения лагеря. Неожиданно люди стали останавливаться, примыкая один к другому.

— Не останавливайся там, впереди! подавайся! — кричали из штаба.

— Нельзя идти! впереди стали! отняли дорогу! — раздавались солдатские голоса из среды колонны.

— Спросить почему остановились, — повторили из штаба. Вдоль дороги пронесся вопрос: «зачем впереди стоят?»

Долго ждали мы, пока тем же путем вернулся ответ: «неприятель не пускает». Барон Розен, выбрав удобное местечко, слез с лошади; мы все последовали его примеру. Он было попробовал пробраться мимо солдат, столпившихся на тесной дорожке, но на первых же порах отказался от своего предприятия. Григорий Владимирович, весьма хладнокровный под огнем, боялся однако крути; у него кружилась голова. В каждом сомнительном месте он слезал с лошади, переводчик Гойтов брал его под руку, а линейец держал сзади за концы шарфа; таким образом его спустили под гору и переправляли через все опасные овраги и водомоины. Солдаты, видя его беспрестанно в шарфу, которого простые офицеры не носили во время экспедиции, прозвали его за эту форменность своим бессменным дежурным.

Подметив же, как его с помощью шарфа спускают под гору, какой-то солдатик остряк шепнул товарищу: «Вишь, земляк, это у него шарф. Не то что из-за бессменного дежурства: это у него наместо оттужного каната».

Чтобы разъяснить дело, начальник штаба пошел, взяв с собой Всеволожского и меня, пробираться мимо солдат, не знающих как посторониться, чтобы нас не столкнуть и самим не упасть с обрыва. Не без труда добрались мы на ружейный выстрел от головы колонны, но тут принуждены были остановиться; дорожка сузилась до того, что на ней одинокий человек едва мог удержаться, и вся была занята непрерывною нитью солдат. В двух выстрелах впереди виднелась над самой дорогой высокая четырехугольная башня, знакомой нам постройки, потому что мы уже несколько их взорвали на воздух. С пункта, до которого мы дошли можно было гораздо легче переговариваться с капитаном Богдановичем, шедшим в авангарде со своими саперами. Вольховский обратился к нему через посредство офицера стоявшего на дороге шагов сто перед нами.

— Что делается у вас? Почему люди стоят?

— Неприятель засел в башню, мимо которой дорога проходит не далее двадцати шагов, и стреляет очень метко; передовой солдат убит, двое последующих получили опасные раны. Если отряд станет дефилировать под выстрелами, то у нас без всякого проку перебьют невесть сколько людей.

— Что можно сделать: обойти башню, взять штурмом, районировать?

— Ничего подобного делать нельзя; следует отойти на первый раз, потом оцепить башню для того, чтобы не упустить неприятеля и приняться за него не торопясь, если хотя несколько жалеют людей.

Богдановича знали офицером опытным, храбрым и отлично понимающим свое дело. Ему можно было поверить на слово; поэтому весь отряд, кроме головного эриванского батальона, повернули налево кругом и расположили биваком в ближайшей лощине. После того начальник штаба поехал осмотреть башню и посоветоваться с Богдановичем. Она оказалась весьма крепкой постройки, стояла на отдельной гранитной скале и совершенно командовала дорогой при начале спуска в долину. Двери в башню, сколоченные из толстых дубовых досок и заваленные внутри камнем, находились сажени три выше почвы. Лестницы к дверям не имелось. Узкие бойницы пробитые по всем направлениям позволяли стрелять во все стороны; в башне царствовало молчание; прерываемое лишь редким огнем, по которому, однако, нельзя было заключить сколько человек в ней заперлось. Осетины, после долгого искания, нашли способ перебраться через гору в аул, лежавший за башней, по крутизне позволявшей пройти человеку освобожденному от ноши. Отряд не мог следовать этим путем с лошадьми и вьюками; к тому же вопрос заключался теперь не в том как миновать башню, а каким способом ее можно взять и наказать горцев, имевших дерзкую мысль загородить нам дорогу.

Прежде всего окружили башню, переправив через гору две роты эриванцев путем, найденным осетинами. Стрелковую цепь уложили за камнями и в ближайших саклях, проделав бойницы к стороне неприятеля. Из башни, не взирая на дальнейшее расстояние, стреляли так метко, что солдат не смел показать ни головы, ни руки, ни клочка своей шинели без страху тотчас быть пронизанным пулей. Потом сделали попытку разбить двери артиллерией, но скоро пришли к убеждению, что против них наши трехфунтовые гранаты совершенно бессильны. Остался последний и самый верный способ — взорвать башню на воздух, но и тут встретилось сильное затруднение. Скала, на которой стояла башня, не позволяла ни провести минной галереи, ни заложить колодца; пробивать гранит у нас не доставало инструмента и времени. Чтобы не терять людей без проку, представлялось одно средство: провести блиндированный ход к основанию башни, пробить стену и заложить мину в погребе. Лес, потребный для крытого хода, отыскивали в

ауле, на веревках перетаскивали через гору и принялись за работу. На третьи сутки пять пудов порошу, заколоченного в крепкий, железом окованный ящик, лежали в погребе, несмотря на все усилия неприятеля остановить работу. Он пробил даже свод погреба и стрелял в сапер работавших в нем над закладкой мины. Несколько раз предлагали осажденным сдаться, но каждый раз они отвергали наше предложение. Когда все было приготовлено ко взрыву, добрый, человеколюбивый барон Григорий Владимирович еще раз послал сказать галгаевцам, чтобы пожалели себя, и в случае сдачи обещал им жизнь и даже размен. Они согласились наконец выйти из башни, попросив два часа сроку на очистку двери от камней, которыми был завален выход. В назначенное время весь штаб съехался к башне, одна рота стала в ружье для приема пленных, двери распахнулись, сперва вылетели с полдюжины ружей, потом спустились по веревке два оборванные, грязные галгаевца, которые, скрестив руки на груди и глядя на нас исподлобья, ждали своей участи.

— Где же остальные, отчего они не выходят? — спросили у них через переводчика.

— Нас только и было!

Через десять минут в нашем виду из-под башни поднялся высокий столб дыма, раздался глухой гул, масса камней с треском рухнула на землю, и когда ветер разнес густую пыль, на месте ее оставалась одна груда старых развалин. Для утверждения истины христиане строили в горах крепкие башни; для восстановления порядка такие же христиане принуждены были их уничтожать. Обыкновенное противоречие в потребностях прошедших веков и настоящего времени.

В эту знаменитую осаду мы потеряли: убитыми трех, ранеными одиннадцать человек. Подобные случаи не раз бывали на Кавказе и в прежние времена. Осетины во время восстания заключались в башнях человек по сорока и больше и нередко защищались в них до последней крайности, предпочитая сдаче верную смерть от взрыва. Но подобную оборону можно было встретить у одних галгаевцев, в первый раз видевших в своей земле русские войска и незнакомых еще со всеми способами разрушения, которыми обладает европейское военное искусство.

На другой день, разорив Цори до основания, мы выступили в Шуани, где нас ожидали наши палатки, платье, чистое белье и съестные припасы, в которых мы крайне нуждались. Невыносимо дурная погода сопровождала наш поход. Мелкий, холодный дождик моросил с раннего утра; горы были засланы густым серым туманом, сквозь который вяло тянулись утомленные солдаты, осторожно шагавшие по скользкой дороге. Намереваясь в Шуани уехать из отряда, Корпусной командир остановился на небольшой площадке и стал пропускать мимо себя войска, благодаря их за службу и прощаясь с ними на короткое время. Посреди карабинер шли два пленные защитника цоринской башни, одетые в лохмотья и покрытые дырявыми, поношенными бурками. Их вели солдаты на длинных веревках с туго за спину связанными руками. Поравнявшись с

Григорием Владимировичем, в котором они еще накануне имели случай узнать главного начальника, галгаевцы принялись знаками и голосом о чем-то молить. Жалобные лица их растрогали барона.

— О чем просят бедняги? — спросил он у возле стоявшего Гойтова.

— Жалуются на холод. Руки связаны так крепко, что они не в состоянии придерживать бурки. Просят, чтобы веревку ослабили.

— Распустить веревки! — приказал барон.

— Опасно, пожалуй убегут, — заметил кто-то из числа штабных офицеров.

Барон оглянулся, как бы отыскивая глазами нечеловеколюбивого критика своих распоряжений.

— Бегут из середины батальона? Как? Куда? Чистые пустяки! — и повторил приказание.

Пленным ослабили веревка до такой степени, что им можно было, скрестив руки на груди, закутаться в свои бурки. По окончании операции батальон пошел своею дорогой.

Час спустя у Эриванцев поднялась сильная суматоха. Офицеры засуетились, горны протрубили «налево» и «прямо вперед», солдаты ощупью стали спускаться под гору, ничего не видя перед собой кроме густого тумана, в котором глухо звучали клики: «Нет, не сюда, иди правей, иди левей, тут кручь, гляди, оборвешься!» Долго мы не могли добраться толку, для чего это делается, наконец загадка объяснилась. Галгаевец пропал и вместе с ним исчез карабинер. Проходя над крутым обрывом, он неожиданно бросился с горы и увлек за собой унтер-офицера, неосторожно обвязавшего конец веревки, которою были спутаны его руки, вокруг своего пояса, что и послужило к его гибели. Дело произошло в виду ближайших солдат так быстро, что они не успели помочь своему товарищу. Долго отыскивали без всякого прока несчастного карабинера и сколько ни жалели о нем и как ни рвались вернуть пленного, а все-таки были принуждены уйти, покинув их на произвол судьбы. В последствии мы узнали от лазутчиков, что галгаевец, хорошо зная местность, выбрал для бегства удобный пункт, съехал без вреда до известного ему уступа горы, там окончательно освободился от ослабленной веревки, а солдата, ошеломленного падением, столкнул в пропасть.

В Шуани мы нашли вещи и маркитанта со свежим хлебом и прочими припасами и наконец получили возможность не только наполнить как следует отощавшие желудки, но и обратиться в опрятных, порядочных людей, освободившись от белья сомнительной чистоты, от загрязненного платья и от прорванных сапог.

Оставив войска следовать обыкновенными переходами, Корпусной командир со всем штабом поехал из Шуани под прикрытием конного конвоя прямо во Владикавказ, показавшийся нам после нашей горной экспедиции идеалом человеческого комфорта. На терекской переправе стоял подполковник Челяев с грузинскою пешею милицией. Перед палаткой его покоился на козлах огромный бурдюк, из которого грузин цедил в серебряную азарпеш душистую, живительную влагу благодатной Кахетии, приветствуя каждого из нас всегда приятным, но в этот раз особенно сладко звучащим «Аллаверды». Горы плова и ряды ружейных шомполов, на которых шашлык шипел над ярким жаром, довершали встречу, приготовленную Челяевым для возвращавшихся из голодной экспедиции.

Следует добавить, что пока мы по вершинам гор стяжали довольно бесплодную славу неутомимых ходоков, осетинские милиционеры, оставленные в Шуани, побуждаясь более практическим взглядом на вещи, отыскиали и, не потеряв ни человека, отбили до трех тысяч галгаевских баранов, которые и были отданы им в бесспорное владение. Таким образом кончилась 28-го июля галгаевская экспедиция, теперь совершенно забытая, а в свое время наделавшая на Кавказе не мало шума.

В Владикавказе собрались тем временем все остальные войска назначенные для чеченской экспедиции, долженствовавшей составить второй период военных действий 1832 года. Пока мы были в Галгае, командовавший войсками на Кавказской Линии генерал-лейтенант Вельяминов ходил с небольшим отрядом обращать в покорность отложившихся галгаевцев, в чем и успел без большого труда и кровопролития.

VII.

На левом фланге Кавказской Линии самые злые противники наши была чеченцы, занимавшие глубину лесов, покрывающих пространство, лежащее между снеговым хребтом, Сунжею и Акташ-су. Враждебные столкновения с ними начались со времени первого поселения казаков на берегу Терека, во второй половине прошедшего столетия.

С тех пор вражда чеченцев к русским возрастала с каждым годом, принимая все более и более характер непримиримой, истребительной войны. Когда между лезгинами распространилось учение, из которого возник мюридизм, и дагестанские нагорные общества признали над собой духовную власть Казии-Мегмета, тогда и чеченцы не замедлили присоединиться к имаму,

проповедовавшему «газават», священную войну против русских, их коренных врагов. И как было не идти за таким учителем, который по пути грабежа и беспощадного мщения вел к вратам рая каждого правоверного, посвятившего себя на истребление гяуров. В 1831 году они участвовали с Кази-Мегметом в разграблении Кизляра и во всех его вторжениях в наши пределы и до того умножили свои воровские набеги на Линию, что по левую сторону Терека ни многочисленные станицы, ни далекая, пустая степь не были безопасны от разбоя. По ночам, бывало, на станичных улицах убивали казаков, уводили со двора лошадей и скотину, а не раз случалось, партии их степью проходили к устью Волги. Два года мы оставались в оборонительном положении, изредка отыскивая неприятеля в его воинственных пределах для отплаты за слишком уже дерзкое нарушение безопасности на Линии. Не все наши карательные экспедиции были успешны в течении этого периода. В 1831 году начальник Кавказской Линии, генерал Эмануэль, потерял в Аухе до тысячи человек и принужден был вернуться, дав только новую пищу дерзости чеченцев. Эмануэля заменили на Линии генерал-лейтенантом Вельяминовым.

Назначение этого генерала, друга и сослуживца Алексея Петровича Ермолова, при котором он в Тифлисе много лет занимал должность начальника штаба, повлекло за собой разительную перемену в системе действий и повело бы впоследствии к постепенному, нашим политическим выгодам не противоречащему умиротворению края, ежели бы в Петербурге менее оспаривали его мысли, и жизнь его не прервалась так скоро. Алексей Александрович Вельяминов бесспорно принадлежал к числу наших самых замечательных генералов. Умом, многосторонним образованием и непоколебимою твердостью характера он стал выше всех личностей, управлявших в то время судьбами Кавказа. Никогда он не кривил душой, никому не льстил, правду высказывал без обиняков, действовал не иначе как по твердому убеждению и с полным самозабвением, не жалея себя и других, имея в виду лишь прямую государственную пользу, которую, при своем обширном уме, понимал верно и отчетливо. Никогда клевета не дерзала прикоснуться к его чистой, ничем не помраченной репутации. Строгого, с виду холодного, малоречивого Вельяминова можно было не любить, но в уважении не смел ему отказать ни один человек, как бы высоко он ни был поставлен судьбой. Я не встречал другого начальника пользовавшегося таким сильным нравственным значением в глазах своих подчиненных. Слово Вельяминова было свято, каждое распоряжение его безошибочно; даже в кругу самонадеянной и болтливой военной молодежи, приезжавшей к нам из Петербурга за отличием, признавалось делом смешным и глупым разбирать его действия. Горцы, знакомые с ним исстари, боялись его гнева как огня, но верили слову и безотчетно полагались на его справедливость.

Не увлекаясь теориями, которые наши государственные люди того времени вырабатывали относительно покорения Кавказа, Вельяминов совершенно отвергал оборонительную систему; усиленные наступательные операции и набеги, без цели и без способа удержать за собой пройденное пространство, признавал злою необходимостью для усмирения горцев на короткое время, а для полного покорения Кавказа считал полезным, медленно подвигаясь вперед, утверждаться не одною силою оружия, но основательными административными мерами. Во избежание истощительной для государства траты людей и денег, он советовал более предоставить действию времени, сохраняя притом для русского войска хорошую практическую военную школу. Беспристрастный историк позже раскроет, насколько Вельяминов был прав в своих предположениях.

Барон Розен, ничего не предпринимавший в этом году без совета и согласия Вельяминова, сознавая его превосходную опытность в кавказской войне, окончательно решился передать ему непосредственное начальство над войсками чеченского отряда, сохранив для себя положение зрителя и принимая участие в деле лишь через распоряжения, требовавшие согласия главноуправляющего краем. Отдохнув неделю во Владикавказе и покончив закавказские дела присланные из Тифлиса на разрешение, Корпусной командир 5-го августа выступил в Назрань, где его ожидал Вельяминов с войсками, собранными им на Линии.

В состав соединенного чеченского отряда вошли: Эриванского карабинерного полка (командир полковник князь Дадян) 2 батальона;

41-го Егерского полка (командир майор Резануйлов) 1 батальон; 40-го Егерского полка (полковник Шуйский) 2 батальона;

Московского пехотного полка (полковник Щеголев) 2 батальона; Бутырского пехотного полка (полковник Пирятинский) 2 батальона; Кавказского саперного батальона (командир капитан Богданович) одна рота.

Полк пешей грузинской милиции (командир полковник Челяев), 5 сотен. Линейских казаков (командир полковник Засс), 5 сотен.

Грузинский конный полк (командир князь Ясен Андроников), 5 сотен. 1-й мусульманский конный полк (командир князь Бебутов), 5 сотен. 2-й мусульманский конный полк (командир Мирза-Джан Мадатов), 5 сотен.

Кабардинская милиция (командир князь Асланбек Бекович-Черкасский), 2 сотни.

Легких орудий 24, горных 4.

Всего, считая приблизительно, 9.000 человек.

Батальон Тифлисского пехотного полка, ходивший в Галгай, сколько помню, отделился от нас во Владикавказе, а осетинская милиция была распущена по домам, кроме некоторых старшин — между ними мой приятель Магомет-Кази — следовавших за нами волонтерами. При этом я

должен заметить, что и наше малое число батальонов по характеру местности и по роду войны ни в одном случае не могло быть сосредоточено для общего удара, как бывает в европейской войне; большею частию они были принуждены действовать порознь.

Вся чеченская земля покрыта вековыми лесами и прорезана множеством рек и потоков, текущих с юга на север; самые значительные между ними Фартанга, Асса, Аргун и Аксай. Сунжа, принимающая в себя с правой стороны все чеченские воды, обтекает Чечню с запада и севера, отделяя ее от земли ингушей и от Малой Кабарды.

Северная полоса Чечни представляет ровную местность, по которой проходят арбяные дороги, годные для обоза и для артиллерии; южная часть ее весьма гориста и поэтому неудобна для движения войск. Посреди лесов открывались просторные поляны, занятые населением, сплотившимся в многолюдные аулы; затем большинство чеченцев обитало в отдельных хуторах, рассеянных по непроницаемым тущобам, составлявшим самую надежную оборону их жилищ. Все, даже большие селения, непременно прислонялись одним боком к густому лесу, служившему верным убежищем для чеченских семейств, когда им угрожала опасность от русских войск. Дома или сакли, как их называли кавказцы, были построены из плетня покрытого густым слоем глины, имели плоские крыши и вмещали две или три весьма опрятные, чисто выбеленные комнаты. В зажиточных селениях сакли были окружены садами, в которых чеченцы разводили разные овощи и фрукты. На полянах и в лесных прогалинах встречались немалые посевы кукурузы, проса, пшеницы, ржи и ячменю. Леса были наполнены ореховыми деревьями, яблонями, грушами, сливой и кизилом. В то время нашими войсками не были еще сделаны просеки в лесах. В начале двадцатых годов Ермолов расчистил на ружейный выстрел по обе стороны одну дорогу, проходившую через знаменитый Гойтинский лес; к тридцать второму году и эта просека успела покрыться непроходимо густою порослью; поэтому мы были осуждены вести в Чечне самую трудную лесную войну. Как противники чеченцы заслуживали полное уважение, и никакому войску не было позволено пренебрегать ими посреди их лесов и гор.

Хорошие стрелки, злобно храбрые, сметливые в военном деле подобно другим кавказским горцам они ловко умели пользоваться для своей обороны местными выгодами, подмечать каждую ошибку нашу и с неимоверною скоростью давать ей гибельный для нас оборот.

Составленный Вельяминовым план чеченского похода был очень прост. Отнюдь не сомневаясь в удаче осторожно направляемой экспедиции, но и не ожидая от нее другого результата кроме временного усмирения чеченцев, которое позволило бы русскому линейскому населению отдохнуть от тревожной жизни последних годов, он предполагал пройти по чеченской плоскости, разоряя селения, уничтожая жатву, отбивая стада и атакуя неприятеля везде, где бы он имел дерзость собраться в больших силах. Обстоятельства должны были указать дальнейший ход действий.

На другой день мы выступили с рассветом из Назрана и переправились через Сунжу по мосту, поставленному на козлах, потому что броды через эту реку существуют только в ее верховье. За Сунжей мы ступили на неприятельскую землю, и со следующего перехода началась для нас ежедневная, неумолкаемая драка. В войне с чеченцами один день походил на другой. Изредка неожиданный эпизод, встреча со значительным сборищем, штурм укрепленного аула или набег в сторону изменяли утомительно-однообразный ход действий. Переходы соразмерялись с расстоянием полей, лежавших на берегу речек и достаточно просторных для размещения на них лагеря не ближе ружейного выстрела от ближайшего леса. Дороги пролегали преимущественно через густой и высокий лес, изредка перерезанный лужайками, ручьями и оврагами. В продолжение всего перехода дрались, ружейные выстрелы гремели, пули жужжали, люди падали, а неприятеля не было видно. Одни дымки, вспыхивавшие в лесной чаще, обозначали его присутствие; не имея перед собой другой цели, наши солдаты были принуждены стрелять на дымок.

После перехода войска располагались лагерем на один день или долее, глядя по числу окрестных аулов, которые предполагалось разорить. С места стоянки посылались во все стороны небольшие колонны для истребления неприятельских полей и домов. Аулы горят, хлеб косят, и опять загорается перестрелка, раздается пушечная пальба, опять несут убитых и раненых. Татары везут в тороках отрезанные неприятельские головы, пленных нет: мужчины не сдаются, а женщины и дети заранее спрятаны в такие трупщобы, куда не пойдут их отыскивать. Вот показалась голова колонны, возвращающейся с ночного набега; хвоста еще не видать, он дерется в лесу. Чем ближе к выходу на чистое место, тем чаще гремят выстрелы, слышен гик. Неприятель провожает арьергард, теснит его со всех сторон, кидается в шашки, ожидая только минуты, когда он выйдет на открытое место, чтобы засыпать его градом пуль. Приходится поднять из лагеря свежий батальон и несколько орудий для поддержания отступающего арьергарда. Картечь и беглый огонь останавливают неприятельский натиск и дают нашей колонне возможность выйти из лесу без лишней потери.

Посылают косить траву, и тотчас начинается драка; дрова для варки пищи и для бивачных огней берут не иначе как с боя. За речкой растет кустарник или выдалась едва приметная лощина; это заставляет прикрыть водопой полубатальоном с артиллерией, иначе перестреляют лошадей или отгонят их. Один день как другой, что было вчера — повторится завтра; везде горы, везде лес, а чеченцы злы и неутомимы в драке.

Порядок движения и лагерное расположение были как нельзя лучше приспособлены к характеру войны и никогда не изменялись. Походная колонна строилась следующим образом: в авангарде и в арьергарде по пехотному батальону при нескольких легких орудиях, где существовали дороги, удобопроходимые для полевой артиллерии, заменявшейся в противном случае горными единорогами. Кавалерия, резервная артиллерия и обоз помещались в середине колонны и прикрывались пехотой, следовавшей рядами по обе стороны. Перед авангардом, позади арьергарда и направо и налево по протяжению всей колонны шли стрелки, имея за собой резервы с горными орудиями. На ровных и открытых полях боковые прикрытия удалялись от колонны на хороший ружейный выстрел; вступив в лес, они шли как позволяла местность, по

возможности стараясь уберечь ее от неприятельского огня, слишком губительного, когда ему подвергалась сомкнутая масса войск.

Солдаты называли это водить колонну в ящике. На походе все дело происходило в цепи: в авангарде, когда шли вперед, в арьергарде, когда отступали, и почти непрерывно в боковых прикрытиях, выполнявших самую трудную и самую опасную задачу. В лесу стрелковым парам нередко приходилось идти не видя друг друга, при этом разрываться, и чеченцы, будто вырастая из земли, насакивали на них и рубили отделившихся солдат прежде, чем товарищи поспежали им помочь. Движение стрелков, закрытых лесом и горами, редко было видно с дороги, по которой следовала колонна. С ними переговаривались посредством сигналов на рожке. Для того, чтобы в лесу и в горах всегда иметь возможность узнавать, где находятся части войск, отделенные от главной колонны, авангард, арьергард и боковые прикрытия обозначались перед выступлением сигнальными нумерами, которыми по уставу называются роты в батальоне. Эти сигналы менялись весьма часто, дабы горцы, подметив их, заранее не угадывали, кому отдают приказание. Желая дознаться, где какая-нибудь часть пробирается по лесу, подавали условленный вопросительный сигнал, горнисты всех частей откликались своими нумерами и, судя по звуку, приказывали потом, назвав кого следовало, ускорить шаг, стоять или приблизиться к колонне. Неприятельские пули, случалось, ложились в середину войска, но очень редко удавалось горцам, разорвав цепь, нападать на колонну. В экспедицию 1832 года не могу припомнить более четырех таких прорывов.

Лагерь постоянно размещался кареем: по фасам пехота и артиллерия, посредине кавалерия и обоз. Для небольшого числа войск строился вагенбург из повозок. Вокруг всего лагеря располагалась днем негустая цепь, на расстоянии ружейного выстрела от палаток. На ночь число застрельщиков умножалось, придвигали резервы и впереди укладывали еще секреты в более опасных местах. Людей разводили на эти посты после наступления темноты, для того чтобы не подсмотрел неприятель. Они были обязаны наблюдать глубокую тишину, подходящих не окликать, а осмистывать и стрелять на каждый подозрительный шорох, хотя бы не могли точно разглядеть, от чего он происходит. На каждом фесе лагерного каре держали наготове дежурные части для подкрепления передовой цепи в случае действительного нападения. Солдаты от этих частей лежали перед палатками, имея при себе ружья и патронные сумки. Остальные солдаты и офицеры спали раздетые и не имели привычки тревожиться от выстрелов, которые нам почти каждую ночь посылали чеченцы, подползавшие к лагерю несмотря на все наши предосторожности. Нередко мне самому случалось просыпаться ночью от беглого огня лагерной цепи и слышать над палаткой свист чеченских пуль. Тогда полусонным голосом кто-нибудь провозглашал:

— Опять подползли, спать не дают. Откуда это они стреляют?

— Справа (или слева), ваше благородие, — отвечал какой-нибудь солдат или казак.

И приняв к сведению такого рода извещение, бывало, закроешь голову подушкой с той стороны откуда летят пули и через несколько минут снова засыпаешь крепким сном с надеждой, что в лагерь чеченцев не пустят, а от пули Бог убережет.

Одиннадцать дней, с 6-го по 17-е августа, мы проходили по Малой Чечне, перестреливаясь и разоряя аулы, потом подошли к крепости Грозной, сдали больных и раненых, забрали провианту и снарядов и двинулись в сердце Большой Чечни. В это время мое служебное положение несколько изменилось. Во Владикавказ приехал из Тифлиса генерального штаба штабс-капитан Норденстам, по праву старшинства вступил в управление походною канцелярией и, имея особенную склонность к письменным делам, принял в свое распоряжение и переписку по второму, мне принадлежавшему отделению. Вольховский, видя, что я, как говорится, отбиваюсь от рук, нашел для меня дело при войсках более сродное моему характеру, приказал чередоваться в авангарде и в арьергарде с офицерами генерального штаба, состоявшими при войсках на Линии и посылал нередко с отрядами, ходившими в сторону уничтожать чеченские аулы. Это последнее дело послужило поводом к сближению с Вельяминовым моей незначительной персоны. Вольховский представил ему в Назране всех офицеров, принадлежащих к штабу Корпусного командира, в том числе и меня, но весьма естественно, что он обратил мало внимания на молодого, невидного егерского подпоручика, затертого среди блестящих адъютантских мундиров, и даже забыл в последствии мое лицо и имя.

Неделю спустя Вольховский прикомандировал меня к небольшому отряду, посланному разорить не помню какую-то деревушку, лежавшую верст десять в стороне от лагеря.

Мы выступили до рассвета, заняли аул, сожгли его, накосили на полях сколько нужно было фуражу, остальное вытоптали, не сделав ни одного выстрела; но при выступлении попали довольно неожиданно под огонь неприятеля, выжидавшего этот момент в примыкавшем к селению лесу. Пришлось уходить с боем, стоившим нам человек семь нижних чинов, выбывших из строя. На обратном пути, не доходя до лагеря версты две, я опередил отряд, как мне было приказано начальником штаба, для предварительного сообщения ему подробностей дела, происходившего на моих глазах. Корпусной командир завтракал у Вельяминова с некоторыми из своих офицеров. Я вошел в большую кибитку, где был накрыт стол и, отыскивая глазами Вольховского, остановился у входа, не заметив при этом, что в стороне стоял казачий офицер, успевший прежде меня приехать с донесением от командира нашего отряда.

Вельяминов первый меня заметил и, приняв по мундиру за строевого офицера, спросил зачем я пришел.

— С донесением к Дмитрию Владимировичу.

Вольховский, предупредив его, что я принадлежу к корпусному штабу, обратился ко мне с разными вопросами об отряде, из которого я прибыл. Отвечать было не трудно, я передавал дело как видел его.

Вельяминов, прислушиваясь к моим ответам, попросил позволение в свою очередь сделать мне вопрос.

— Много ли вы имели против себя чеченцев?

— Трудно сказать, неприятель прятался и нам были видны одни дымки от его выстрелов.

— А судя по огню, как вы заключаете о числе его?

— Могла быть сотня, много полторы.

— Вот кто говорит правду, — возразил Вельяминов, обратившись к своим гостям, — а господин сотник приехал рассказывать басни. По месту и по времени не могло собраться более чеченцев, я и прежде был в этом убежден.

Тут Вельяминов спросил у Вольховского мою фамилию и потом вполголоса поговорил с корпусным командиром.

— Алексей Александрович просит меня уступить вас в его распоряжение, — обратился ко мне барон. — Согласно ли это с вашим желанием?

— За честь сочту служить при нем, как служил и при вашем высокопревосходительстве.

— Совсем не расстаюсь с вами, а на время похода вы имеете находиться при командующем войсками на Линии.

— Очень рад, — прибавил Вельяминов, — и начнем знакомство с теперешнего завтрака. Садитесь и берите прибор.

Таким случаем я попал к Вельяминову под начальство, что не помешало однако и Вольховскому распоряжаться мною по старой привычке. Вместо одного я нажил двух начальников, дело довольно неудобное, но зато меня совершенно освободили от канцелярии.

Вступая в большую Чечню со стороны крепости Грозной, нам следовало пройти через Гойтинский лес, прорубленный, как я прежде упомянул, при Алексее Петровиче Ермолове и успевший однако зарости, хотя и мелким, но невероятно густым кустарником. В этом лесу, имевшем около семи верст протяжения и посреди которого в болотистых берегах протекала речка Гойта, чеченцы искони дрались против русских с несказанным упорством. Гойтинский лес и речка Валерик были памятны всем старым кавказцам; подходя к ним, отрядные начальники удваивали осторожность, а русский солдат готовился на нешуточный бой.

Перед лесом Вельяминов приказал поставить вправо и влево от дороги по шести орудий и открыть сперва картечный огонь по опушке, а потом стрелять в средину чащи ядрами и гранатами, хотя не было видно ни одного чеченца, и ни один выстрел не встретил нас с неприятельской стороны. После того застрельщики от целого батальона, подкрепленные во второй линии ротными колоннами, без выстрела, с громким ура бросились бегом к опушке и, заняв ее, тотчас легли на землю. Несколько мгновений спустя ружья затрещали с обеих сторон; оказалось, что лес не так безлюден, как можно было думать с первого раза. Таким образом занимали на Кавказе каждую опушку, каждый пролесок, каждую несколько закрытую переправу и каждое селение. Вся разница состояла в том, что, соображаясь с местностью и с числом предполагаемого неприятеля, увеличивалось или уменьшалось количество артиллерии и войск назначаемые для первой атаки. Тишина, господствующая в лесу или в селении, ничего не доказывала: неприятель был везде и всегда, редко удерживал позицию, но дрался всюду, где находил местное прикрытие и где имел свободное отступление. Только по занятии опушки главная колонна входила в лес, имея впереди себя авангардных застрельщиков. Стрелки же, лежавшие перед лесом по обе стороны дороги, втягивались в чащу и составляли правое и левое прикрытие походной колонны; тогда начиналась драка, прекращавшаяся не прежде выхода войск на открытое место. По временам огонь усиливался, а эхо выстрелов сливалось с чеченским гиком и с русским ура, в глубине леса работали штык да шашка.

В Гойтинском лесу ожидала нас одна из неприятных случайностей кавказской войны. Колонна прошла уже половину пути. Посредине леса, на берегу ручья, столпились обоз и артиллерия в ожидании очередной переправы по весьма малонадежному мостику. Чеченцы, пользуясь этой задержкой, налегли на правое прикрытие и, оттеснив его, стали посылать пули в средину обоза. По сигнальным ответам, казалось, наши не понимали или не могли исполнить приказание идти вперед; Вельяминов приказал мне съездить в лес и отвести стрелковую цепь подальше от колонны.

С трудом продираясь на лошади через мелкую поросль, я стал отыскивать командира цепи; кое-где мелькали предо мной солдатские шинели, но офицера между ними не было. В это время недалеко от меня промчались чеченцы, пули посыпались как горох, а солдаты, за ними несколько офицеров вынырнули из-за деревьев и кустов, поспешая к месту, откуда раздавался крик. Имея с собой одного казака, я ради собственной безопасности увязался за ними и выехал на небольшую прогалину в то самое мгновение, как подоспевшие застрельщики принялись штыками отбивать чеченцев, рубивших разрозненные пары. На земле лежал раненый юнкер, князь Иван Урусов; вовремя подскочивший офицер защитил его от шапки, сверкавшей в руке противника, имевшего видимое желание его покончить. Схватка продолжалась не более двух минут. Резерв подбежал, и неприятель скрылся из виду; только пули его продолжали жужжать мимо наших ушей. Урусова понесли на перевязку и подняли убитых, тела которых кавказские солдаты ни в каком случае не оставляли на поругание неприятеля.

Этот случай заставил меня узнать, как хороша память у русского солдата и как он примечает за всем, что делают офицеры. В цепь я попал так же случайно как и на схватку с неприятелем, оставался при ней после происшествия отнюдь не более, чем требовало приказание, данное мне Вельяминовым, а потом вернулся прямо к нему. Двенадцать лет спустя я снова проходил через Гойтинский лес с Робертом Карловичем Фрейтагом, у которого исправлял должность отрядного обер-квартирмейстера. Дело мы имели жаркое; мне приходилось скакать во все концы колонны. Проезжая мимо куринцев, я был остановлен солдатом, который, пристально вглядываясь в мое лицо, вдруг заговорил:

— Ваше высокоблагородие, а ваше высокоблагородие, кажись, я вас признаю; вы были с нами в здешнем лесу, помните ли, когда чеченцы зарубили застрельщиков и ранили нашего юнкера, князя Урусова.

Солдат меня узнал, несмотря на долгое время и на перемену мундира; в тридцать втором году я был одет в егерскую форму, а в сорок четвертом носил мундир генерального штаба.

— Который раз, ваше высокоблагородие, изволите проходить через этот лес? — спросил после того мой старый знакомый.

— Седьмой.

— А я двадцатый. Когда же лес останется за нами?

— Ну, любезный, спроси про это у Господа Бога, а я ведать не ведаю, — отвечал я и направил лошадь к Роберту Карловичу, моему давнишнему другу и защитнику, с которым в том году отбыл не одно горячее дело.

И чеченцы заплатились недешево. За лесом начиналось открытое место. Наши конные грузины и татары, посланные вперед отряда, изрубили десятка два пеших молодцов, не успевших уйти с поляны в лес. При этом случае один из них, видя, что ему нет спасения, ухватился за пояс наскочившего на него татарина и ударил его кинжалом в бок с силой, прогнав его сквозь тело широкое лезвие; в то же мгновение сабля татарина опустилась чеченцу на голову, и оба покатались мертвые на траву.

Перед вечером отряд вышел на открытое лагерное место; стали разбивать палатки; для Вельяминова поставили барабан и развели огонь, у которого он молча принялся греть руки. Это была его постоянная привычка. Вокруг него болтали офицеры. Казалось, он был ко всему равнодушен, однако мало слов ускользало от его слуха. Он позволял молодежи на походе ли, за столом или у себя в кабинете говорить свободно обо всем, прислушивался к разговору и заключал по нем об уме и характере каждого из рассуждающих. Когда, бывало, иной слишком разболтается, он без строгости, без гнева скажет только: «Ну, дражайший, перестань, перестань, чрез меру заговорился!»

В этот вечер находился в кругу офицеров, собранных около Вельяминова, и капитан, уберегший Урусова от чеченской шашки. Он рассказывал с жаром подробности своего подвига. Долго Алексей Александрович слушал, не говоря ни единого слова; наконец, он обратился к рассказчику:

— А, дражайший, каким образом ты попал в цепь, когда ранили Урусова?

— Я командовал застрельщиками; Урусов служит в моей роте.

— И ты изрубил чеченца, напавшего на раненого юнкера; где же были твои застрельщики?

— Цепь разорвалась, никого тут не случилось; я сам еле, еле подоспел.

— А! Ты командовал застрельщиками; цепь не шла в порядке, и ты был принужден рубить чеченцев собственной рукой. Нечего сказать, ты храбрый офицер. Отдай, однако, дежурному

штаб-офицеру твою собственную шашку и отправляйся под арест; дело начальника наблюдать за солдатами, а не рубиться с неприятелем.

И бедный командир вместо ожидаемой похвалы, понутив голову, пошел исполнять приказание Вельяминова.

На другое утро Командующий войсками приказал отдать капитану оружие и поблагодарить за спасение юнкера. Так он понимал офицерскую обязанность. Ермолов действовал еще строже в подобных случаях. Он не терпел выскочки и сажал под арест каждого офицера, без надобности и без приказа бросавшегося в огонь, и никогда не давал награды за подобного рода бесполезную храбрость.

При переправе через Аргун и движении к селению Шали мы имели 22-го августа вторую сильную перестрелку, мало отличавшуюся от других вседневных встреч с неприятелем; зато борьба с рекой выходила из пределов обыкновенного порядка.

Переправы через горные кавказские реки вообще принадлежали к категории довольно щекотливых операций и часто стоили доброго дела. Река, проходимая в брод по колено еще вечером, за ночь наливалась по грудь от дождя в горах или от подснежного потока, промывшего себе дорогу к ее покатиному руслу. И Аргун, наподобии Сулака, Сагуаши, Ингура, Бзыба, принадлежал к числу чрезвычайно быстрых и неуловимо своенравных рек. Когда мы к нему подошли, он находился в состоянии неожиданного налива: стрелою неслась вода, унося в Сунжу огромные карчи и ворочая камни, заграждавшие ей дорогу. Ни мост на козлах, ни на арбах для одной пехоты не удержался бы против силы воды и карчей, да и время не позволяло испытывать степень их стойкости; нам надо было спешить к Герменчугу, куда Кази-Мегмет собирал горцев на защиту аула, пока число их не увеличится до размеров силы, непреодолимой для нашего отряда. На Кавказе не имели привычки задумываться над быстротой и глубиной реки, когда существовала искра надежды преодолеть эти препятствия. Мост не устоит против карчи, а живые люди всегда могут от нее посторониться: отвести ее или обождать, пока она проплывет; поэтому было решено не мешкая переходить в брод. Ввиду этой небезопасной операции сам Вельяминов сел возле переправы для личного наблюдения за точным исполнением своих распоряжений и со свойственным ему терпением не сошел с места, пока последний человек не перешел на другую сторону.

Сперва обстреляли противоположный берег картечью как следует, потом грузины, татары и часть линейцев, по седло в воде, перешли на другую сторону и смелою атакой разогнали чеченцев, пытавшихся оспаривать переправу. Кавказские лошади привычны к воде: на быстрых реках они упираются туловищем против течения, а зная, что на дне водятся большие, скользкие камни, не торопясь и щупая копытом грунт переставляют крепкие ноги. Потеряв дно, они плывут без устали.

Дурно только, когда лошадь в упряжи: не имея воли пользоваться своею силой, она перевертывается быстринной вверх ногами, тонет, да и повозку нередко уносит невесть куда.

По переходе конницы устроили переправу для пехоты, артиллерии и обоза. Под острым углом поставили, к течению спиной, плотный ряд линейских казаков на самых сильных лошадях, двадцать сажень ниже поместились к ним лицом две конные цепи. Выше поставленные казаки составляли оплот против напора воды, размещенные ниже должны были ловить пехотинцев, уносимых быстринной.

По этой улице пошла пехота, по отделениям, разутая до пояса, сапоги, ружья и сумки на плечах, солдаты каждой шеренги крепко ухватившись под руку, а фланговый человек придерживаясь свободною рукой за стремя казака, ехавшего со стороны течения. В таком порядке переправилась вся пехота и за нею повозки и артиллерия. Под напором волны шеренги колыхались, люди не раз теряли дно, слабосильных срывало и несло по воде, ниже стоявшие казаки хватали их и вывозили на берег; но дело не обошлось и без утонувших. Два зарядные ящика — и несколько повозок опрокинуло на середине реки, лошади потонули, а ящики были спасены. Подобного рода переправы мне удалось видеть на левом фланге и на береговой Линии.

Герменчуг, самый большой чеченский аул, имевший три мечети, из коих лучшая была построена на деньги, пожалованные Ермоловым, находится в семи верстах от Шали, где Мы ночевали, переправившись через Аргун. Алексей Петрович, дознав на опыте как трудно было ведаться с чеченцами, живущими рассеянно по лесам, принес эту жертву, надеясь около прочно и красиво построенной мечети сгруппировать более значительное число жителей, и не ошибся в своем расчете; герменчугское население увеличивалось с каждым годом, и долгое время его жители, дорожа своею оседлостью, не принимали прямого участия в грабежах и разбоях своих одноплеменников. В 1831 году они были увлечены в общее восстание, и Вельяминов счел полезным показать на них пример всему краю. В его правилах было во всех взысканиях за равную вину начинать с больших, а не с малых. Чую приближение злой грозы, герменчугцы долго колебались, просить ли пощады или защищать селение; Кази-Мегмет убедил их испытать счастье оружия, укрепить селение и ждать в нем прихода русских. Три тысячи чеченцев засели в Герменчуге; имам лично привел к ним на помощь восемьсот конных лезгин и, кроме того, каждый день подходили к аулу поборники очищенной веры из самых отдаленных гор.

Оставив возле Шали весь обоз под прикрытием двух батальонов и двух орудий, мы с остальными войсками двинулись к Герменчугу. На рассвете отряд переправился через неглубокую речку, протекавшую перед аулом, и к полудню стал на позицию в виду ожидавшего нас неприятеля. На левом фланге мы имели речку, на правом — густой лес, в котором скрывались пешие чеченцы и лезгинская конница; перед нами лежало пространное селение, с трех сторон опоясанное крепким окопом, усиленным еще фланговою обороной и заслоненное с тылу высоким лесом. Линейские казаки, грузинский и татарские конные полки под командой полковника Засса первые заняли места перед аулом и с утра завязали джигитовку с неприятельскою конницею, увлекавшею их к лесу, откуда огонь пеших чеченцев снова принуждал наших отходить на чистое поле. Когда весь

отряд перешел через речку и построился в колонны, Вельяминов приказал варить кашу для солдат, а своему повару готовить обед. Люди не сходявшиеся нравом с Вельяминовым, не зная чем его попрекнуть, находили повод обвинять его в излишнем пристрастии к гастрономическим наслаждениям. Вельяминов действительно охотно занимался столом, наравне с естественною историей, архитектурой, гомеопатией из любви к науке и к искусству и гораздо более в пользу других чем для самого себя. Страдая расположением к грудной водяной болезни, от которой он и скончался в 1838 году, Вельяминов постоянно находился на самой строгой диете, но в то же время завел себе в удовольствие вкусно кормить офицеров, обедавших за его столом. На походе до десятка верблюдов носили за ним калмыцкую кибитку, кухню и съестные припасы. В числе других и Вольховский часто укорял его в этой слабости. Эти два человека, в одинаковой мере преданные принципу долга и чести, близко сходявшиеся в умственном воззрении на житейские дела, к сожалению расходились диаметрально в применении своих понятий: Вольховский был строгий доктринер, Вельяминов неумолимый практик. Кроме того, Вольховский, страдавший нервною раздражительностью, был вспыльчив и нередко увлекался первым впечатлением; Вельяминов, обладавший ледяным хладнокровием, подчинял все свои действия одному рассудку и силой характера брал верх над Вольховским. Поверхностно понимая вещи, многие потому считали Вельяминова человеком бездушным и крепко ошибались. Я испытал на себе самом сколько его сердце было доступно самому заботливому участию; он умел только владеть своими чувствами и скрывал их в глубине души для того, чтобы никакому плутоватому уму не удалось воспользоваться ими ко вреду справедливости и общего порядка.

Чтобы вполне понять и оценить характер Вельяминова и его взгляд на обязанности государственного человека, следует открыть в ставропольском штабном архиве и изучить его переписку с военным министром, князем Чернышевым, касательно военных действий на берегу Черного моря. Три раза сряду он имел смелость самым положительным образом, подтверждая фактами свои заключения, опровергать пользу проекта, присланного к нему из Петербурга при именном повелении безотговорочно привести его в исполнение. Свою последнюю записку он заключает следующими словами:

«Ежели государь император и на этот раз не удостоит на основании изложенных мною доказательств и фактов осчастливить меня отменой сказанного проекта, то прошу как милость назначить на мое место другого, более способного и сведущего генерала; я готов служить под его начальством простым солдатом, но по долгу присяги и по совести не могу принять на себя выполнение мер, которые, по моему убеждению, должны принести только один вред для края, отданного мне в управление. Присягая государю, я обещал не только повиноваться, но и хранить славу и соблюдать интерес его величества и Русского государства по моему крайнему разумению».

Покойный император Николай Павлович оценил в этом случай твердость Вельяминова, согласился с его мнением, отменил свое первое повеление и осыпал его милостями, когда он осенью того же года приехал в Петербург. Таков был Вельяминов, и так государь внимал правдивому слову, когда оно исходило от человека, преданного ему и России свыше всякого личного расчета.

Под Герменчугом Вельяминов подверг сильной пытке терпение Вольховского, не во всех случаях умевшего владеть своею нервно-раздражительною натурой; даже более флегматический и пожилой барон Григорий Владимирович не на шутку стал тревожиться, отчего он столько медлит атаковать аул. А Вельяминов был прав; его медленность имела основанием самый верный расчет. Войска, сварив похлебку, да еще с удвоенною мясною порцией, спокойно наполняли себе желудок. На правом фланге батареи в двадцать два орудия, поставленной в расстоянии хорошего ядерного выстрела от неприятельских окопов, для Вельяминова накрыли стол. Как бы дома вокруг него расставили барабаны, и мы шли обедать. В некотором расстоянии позади нас, менее затейливо поместившись на коврах, закусывал корпусной командир со своими офицерами. Неприятельский бруствер и все плоские крыши герменчугских домов были буквально унижены чеченцами, которые с ружьями наголо ожидали атаки и, полагая, также не понимали, чего мы ждем. Несколько зрительных труб были направлены из Герменчуга на наш обеденный стол.

В час пополудни корпусной командир прислал своего адъютанта спросить не пора ли атаковать.

— Нельзя, солнце слишком жарко печет; к тому же и люди не кончили еды.

Через полчаса новый посланец к Вельяминову.

— Не выпили еще порцию, которую приказано раздать.

По прошествии некоторого времени Вольховский прислал за мной. Нетерпеливо стал он меня расспрашивать отчего мешают — будто от меня зависело дело, — и потом поручил передать Алексею Александровичу, что это противно видам Корпусного командира. Не знаю, почему именно меня выбрали для такого поручения; может, только на тот случай, если Вельяминов рассердится: чтоб его сарказмы обрушились на меня, а не на другого.

Когда я вернулся и доложил Вельяминову слова Вольховского, он поморщился, подумал с минуту и сказал:

— Ступай, дражайший, назад и скажи пославшему тебя, что по моему мнению надо еще подождать; впрочем, как угодно, только в таком случае не беру на себя ответа. Надо же, — прибавил он, улыбнувшись, — время докончить обед и убрать стол.

Передав ответ, разумеется без последнего прибавления, я возвратился на свое место. Когда действительно убрали стол, и я стоял позади его, он повернулся ко мне:

— Хочу, дражайший, чтобы ты понял, отчего я медлил, можешь потом объяснить и другим; взглядишь, с каким напряжением чеченцы ждут атаки, они томятся, каждый час ожидания отнимает у них силы и дух, а наши солдаты тем временем отдыхают, и сила их растет. Однако пора начинать.

Он сел на лошадь и приказал артиллерии открыть огонь, по двадцати выстрелов, из орудия. В то же время Засс с казаками и грузинами был послан направо к лесу, в котором находилась неприятельская конница, для прикрытия с этой стороны наших штурмующих колонн, а два мусульманские полка направлены влево, к речке.

С последним пушечным выстрелом барабаны забили атаку, и два Бутырские батальона справа, два егерские слева от батареи беглым шагом помчались к неприятельскому укреплению. Чеченцы, выдержавшие пушечный огонь лежа за брустверами, вскочили, дали залп и не успели снова зарядить винтовки, как наши батальоны, перескочив через неширокий ров, очутились на крыше и штыками погнали их через селение. Бутырцы ворвались первые в деревню. Атака была поведена на центр укрепления. Левый фланг его, примкнутый к лесу, оставался еще во власти чеченцев, с правого они бежали не обороняясь. Тем временем наши казаки, погнав неприятельскую конницу, попали под сильный ружейный огонь из опушки леса. Вельяминов, заботившийся, по Ермоловской методе, всего более о сбережении войск от ненужной потери, послал меня немедленно вернуть их к пехоте, оставшейся при батарее. Я пустил свою лошадь во весь опор; Цукато, мой палаточный товарищ, никогда не отстававший от меня, когда предвиделась опасность, поскакал за мной. Между тем Засс, зная как Вельяминов понимает вещи, сам на полных рысях стал удаляться от губительной лесной опушки. Путь его пролегал мимо левого фланга Герменчугского окопа. Встреченный с него метким огнем, он, не задумываясь, поскакал к нему со своею конницей. В это мгновение мы попали в середину казаков, были увлечены вихрем атаки и, не имея времени опомниться, со всею толпой очутились перед завалом, спрыгнули с лошадей, перепрыгнули через ров и как другие остановились на берме, закрывшись неприятельским бруствером. Озадаченные чеченцы в первое мгновение отшатнулись, потом опомнились, остановились в двадцати шагах и выжидали нас, выставив заряженные винтовки. Они берегли заряды на ту минуту, когда мы вскочим на крону; но казаки люди не только храбрые, но и смысленные в высшей степени, они понимали, что опрометчивость им дорого обойдется и, не покидая места, также целили в неприятеля. Мгновение длилась эта выдержка; чеченцы не вытерпели, дали залп, и дым еще не пронесся, как казаки и грузины с обнаженными шашками и саблями уже сидели у них на плечах. Наша конница взяла завал, обороняемый пехотой. Хотя Засс предупредил приказание командующего войсками и по дороге взял еще неприятельское укрепление, однако мне все-таки следовало его отыскать для того, чтобы не вернуться без ответа. Казаки не знали, куда он девался, и стали за него беспокоиться. Мы сели на лошадей и поехали в поле его отыскивать, где и нашли лежащего на земле с простреленною ногой; около него суетились доктор и близнецы Атарщиковы. В недалеком расстоянии лежал князь Андроников; пуля пробила ему грудь немного выше сердца и вышла в спину; казалось, его ожидала близкая

кончина, однако он жил еще долго после того: пуля обогнула ребра, не пронизав внутренности. Кроме них подобрали еще двух раненых офицеров да десятка полтора простых всадников.

Когда я вернулся с донесением, мне не дали даже вздохнуть и отправили с новым поручением узнать, что происходит в деревне, в которой пальба не прекращалась. На этот раз Вельяминов послал со мной несколько линейцев. В тесной улице, огороженной плетнями с обеих сторон, я наехал нечаянно на весьма неблагоприятную сцену. Егеря сцепились с бегущими чеченцами и кололи их штыками; пули жужжали по разным направлениям; чеченцы метались во все стороны, прыгали через плетни и везде натыкались на солдат. На земле валялся какой-то военный доктор; я счел его раненым, но оказалось, что он от испуга потерял рассудок. Руками отмахивая летавшие пули: «кыш! кыш!» доктор кричал жалобным голосом, чтоб его не кололи, потому что навеки закаялся лезть в драку. Бедняк вообразил себя чеченцем; казаки насильно его подняли, перевалили как куль через седло и повезли на перевязочный пункт. От полковника Пирятинского я узнал, что неприятель обратился в полное бегство, но что около сотни чеченцев, отрезанные от леса, засели в три смежные дома, стоящие посреди большого сада, и не хотят сдаваться. С этим известием я вернулся к командующему войсками. В это же время подвезли помешанного лекаря. Корпусной штаб-доктор Ильяшенко слез с лошади, пощупал пульс и скомандовал фельдшеру: «Ланцет!» Едва пациент увидел этот инструмент, как стал вырываться из рук у казаков и раздирающим голосом звать: «Ради Бога, не режьте голову, я мирной! Мирной! Никогда не буду драться». Ланцет показался ему огромным кинжалом. Несмотря на протест, два сильные казака растянули его на траве, открыли ему вену и, выцедив порядочную толику крови, отправили в лазарет.

По вторичному донесению от Пирятинского что чеченцы, которые заперлись в трех домах, отвергая пощаду, сильно отстреливаются и успели уже убить одного подполковника и переранить многих солдат, Вольховский пошел вместе с начальником артиллерии, полковником Бриммером, со Всеволожским и с Богдановичем лично распорядиться развязкой этого дела. Меня послали провести их по дороге, с которою я успел познакомиться, когда в первый раз проезжал по селению. Сакли были оцеплены тройною цепью застрельщиков, лежавших на земле, за плетнями и за деревьями. Никто не смел показаться на виду у неприятеля: верным глазом направленная пуля наказывала неосторожного; поэтому и мы прилегли за забором, находя бесполезным сделаться мишенью для чеченцев. Подвезли легкое орудие. Ядро пронизало три сакли во всю их длину; после второго выстрела прибежали однако сказать, что на противоположной стороне наши ядра бьют собственных людей. Очистить хотя бы одну сторону от застрельщиков с их резервами значило открыть неприятелю дорогу к бегству, а этого не хотели допустить; поэтому прекратили пальбу. Приказали зажечь сакли хотя бы с одной стороны. Легко было приказать, но исполнить довольно трудно; во-первых, футовый слой глины оберегал от огня внутреннюю плетневую стену, во-вторых, вся она была пробита отверстиями, из которых выглядывали дула метких винтовок. Нашлись однако два сапера, которые решились взяться за дело: подвигая пред собой дубовую дверь вместо щита и неся пучки соломы и хворосту, они подползли к узкому фасу крайнего дома, с неимоверным трудом сбили глину у фундамента и подожгли плетень, начавший медленно тлеть под своею несгораемою оболочкой. Чеченцы продолжали стрелять и с этого боку, пока жар не отогнал их от горящей стены. К саперам-зажигателям присоединились по охоте еще два артиллериста. Они влезли по зажженной стене на плоскую крышу, саперы подавали им гранаты,

которые они, сообщив трубке огонь, через широкую дымовую трубу стали бросать во внутренность сакли, тесно набитой оборонявшимися чеченцами. Слышно было, как лопнули первые две гранаты, последующие перестало рвать. Позже мы узнали, что чеченцы, садясь на них, тушили огонь в трубках прежде, чем он сообщался пороху.

Мало-помалу огонь охватил и прочие две сакли; неприятелю оставалось только сдаться или гореть. Вольховский пожалел храбрых людей и приказал находившемуся при нас переводчику, старому моздокскому казаку Атарщикову, предложить им положить оружие, обещая в таком случае от имени главного русского начальника не только жизнь, но и право размена на русских пленных, открывавшего для них надежду когда-нибудь вернуться к своим семействам. Огонь замолк, когда Атарщиков выступил вперед и по чеченски крикнул, что хочет говорить. Сидевшие в домах выслушали предложение, посоветовались несколько минут, потом вышел полуобнаженный, от дыму почерневший чеченец, проговорил короткую речь и — выстрелы засверкали изо всех бойниц. Ответ заключался в следующих словах:

— Пощады не хотим; одной милости просим у русских, пусть дадут знать нашим семействам, что мы умерли, как жили, не покоряясь чужой власти.

Тогда было приказано зажигать дома со всех концов.

Солнце закатилось, и одно красное пламя пожара освещало эту картину гибели и разорения. Чеченцы, твердо решившиеся умереть, запели предсмертную песнь, сперва громко, потом все тише и тише, по мере того как число поющих убывало от огня и дыма.

Гибнуть в огне, однако, страшно мучительно и не каждый в силах перенести эту пытку. Неожиданно растворились двери догоравшего дома. На пороге явилась человеческая фигура — огонь блеснул, пуля свистнула мимо наших ушей и, сверкая лезвием шашки, чеченец бросился прямо к нам. Широкоплечий Атарщиков, одетый в панцырь, подпустил бешеного чеченца на десять шагов, тихо навел ружье и всадил ему пулю прямо в обнаженную грудь.

Чеченец сделал огромный прыжок — повалился, поднялся опять на ноги, вытянулся в струну, и медленно склоняясь, упал мертвый на родную землю.

Через пять минут повторилась та же сцена, выскочил еще чеченец, выстрелил из ружья и, махая шашкою, прорвался через линию цепи застрельщиков; на третьей цепи его закололи.

Горящие сакли стали разваливаться, осыпая искрами истоптанные сады — из-под дымящихся развалин выползли шесть раненых, чудом уцелевших лезгин; солдаты подняли их и отнесли на перевязку; ни один чеченец не дался живьем: семьдесят два человека кончили жизнь в огне.

Разыгрался последний акт кровавой драмы; ночь покрыла сцену. Каждый по совести исполнил свое дело: — главные актеры отошли в вечность; прочие действующие лица и за ними зрители с камнем на сердце стали расходиться по палаткам: и может статься, не один в глубине души задавал себе вопрос — для чего все это? разве для всех, без разбора языка и веры, нет места на земле?

На обратном пути в лагерь мы должны были проходить мимо лазаретных палаток; в них охали и стонали раненые; поодаль стоял большой навес, из-под которого мерцал слабый огонек и слышалось мерное чтение псалтыря: там лежали тела наших убитых в ожидании могилы. На каждом шагу встречались нам невеселые впечатления, однако мы не имели времени подчиняться им надолго: в лагере ожидали нас живые интересы, ожидали начальники и товарищи; одни озабоченные ответственностью, лежавшие на них нелегким бременем; другие — с горячим участием, свойственным молодости; третьи — с затаенным чувством эгоизма, побуждавшим взирать на все, что делалось, как на бенефисное представление в пользу их честолюбивых расчетов. Эти люди не могли миновать блестящей будущности. К корпусному штабу присоединилось в последнее время много новых лиц, военных и гражданских. Приехали: правитель гражданской канцелярии — забыл его имя, казначей Крылов, секретарь Николай Павлович Титов, добрый, умный, исполненный странностей и неимоверно рассеянный, писатель и поэт, страстный поклонник и подражатель Бальзака, дававший нам в Тифлисе после экспедиции весьма вкусные литературные ужины. В отряд явился и до сумасшествия храбрый, благородный, вечно восторженный Албрэнд, приехавший на Кавказ от несчастной любви искать славы или смерти. Он выпросился немедленно к Зассу, и во время кавалерийской атаки Герменчугского завала случайным образом я столкнулся с ним на берме. «За мной, ребята!» — крикнул он казакам и тотчас полез на бруствер. Цукато и я за фалды черкески стянули его вниз. «Погодите, не так скоро, напрасно подведете людей под верные пули». В это время молодой казак, пораженный прямо в сердце, упал возле нас; мгновенная смерть не успела стереть улыбки с его лица. «Какой завидный конец! — воскликнул Албрэнд: — зачем злая судьба поразила его, а не меня!» На это нечего было отвечать, у каждого своя охота. Между адъютантами Корпусного командира заметнее других был все-таки А. Е. Врангель, и я очень его любил за его всегдашнюю приветливость, проистекавшую от непритворно доброжелательной души. Часто сходил я также с Давыдом Дадианом, сыном мингрельского владетеля, молодым, довольно изнеженным, мальчиком, не переносившим вида крови, а с моим старинным приятелем Пикаловым виделся, не проходило дня, в палатке, на походе или на батарее под неприятельским огнем.

Кази-Мегмет уберется от нас. Чеченцы хотели его удержать в ауле, когда подошли русские войска, но он, сомневаясь в успехе, увернулся от них хитростью: ему вдруг явилось внушение свыше, что Аллах не дарует победы своим многогрешным поклонникам, ежели он, его имам, не станет во время боя молиться за них над текучею водой, а речка находилась за аулом. Не дерзая ослушаться боговдохновенного человека, они выпустили его к воде. Тогда он приказал им

непременно отразить русских, обещая в таком случае довершить их со своими лезгинами и ни одного человека не выпустить живым из чеченской земли. Когда по взятии нами Герменчуга чеченцы принялись обвинять его во лжи, он ответил им, что вина принадлежит им, ибо сражаясь без веры и упования, они впустили русских в селение и тем отняли у него возможность исполнить волю Аллаха. Однако в скором времени он заплатил нам за герменчугскую удачу и снова поднялся на прежнюю высоту богоугодности в глазах легковерных горцев.

Шесть дней простояли мы возле Герменчуга, разоряя селение и поджидая возвращения колонны, отправленной с ранеными в крепость Грозную, откуда она должна была привезти почту, провиант и снаряды. Засс уехал в Наур, главную станицу Моздокского казачьего полка, лечить свою рану. Время проходило невесело, в сравнительном бездействии, и один только эпизод подал несколько новую пищу для разговора. Лекарь, потерявший рассудок во время штурма, бежал к чеченцам, которые, как все мусульмане, идиота считают существом неприкосновенным. Забравшись к ним, он счел обидным, что его не потчуют пуншем и за это стал их ругать и даже бить. Чеченцы, желавшие избавиться от такого беспокойного гостя, прислали в лагерь переговорщика с предложением разменять доктора на некоторых лезгин, захваченных в Герменчуге.

— Как, разменять этого доктора? — сказал Вельяминов, призвав чеченца. — напротив того, я пошлю к вам в лес еще несколько таких субъектов, у меня имеется в запасе не один идиот.

Чеченцы до того испугались этого обещания, что на другой день привели доктора в лагерь без всякого условия.

Первого сентября мы двинулись от Герменчуга к селению Автури и опять в лесу имели сильную перестрелку; тут наши казаки отбили сотни две рогатой скотины, которую неприятель не успел загнать в лес. При этом случае моздокский казак показал пример необыкновенной ловкости и силы. Трехлетний бык впереди стада стрелой неся в лес, казаки и татары напрасно старались его догнать. Тогда линейец на доброй лошади опередил прочих, настиг быка и на всем скаку нанес ему шашкой два удара, один по задним ногам, от которого он присел, другой по шее, от которого голова покатила на землю. Дело случилось на моих глазах. Одним ударом срубленную голову животного отнесли к Корпусному командиру, который приказал подарить казаку три червонца за его молодецкую силу. Черкесы вообще умели хорошо владеть конем и оружием, но и наши линейские казаки не уступали им в этом деле. Спустя два года я имел случай видеть на Кубани другой пример казацкой удали на коне, о котором стоит упомянуть. Вдоль правого берега Кубани тянется ряд курганов, на которых во время дня помещались сторожевые парные пикеты. Саженой сто позади курганов проходила почтовая дорога. Существовал порядок, по которому, когда начальник едет по дороге, один казак должен оставаться на своем месте, а другой скакать наперерез начальнического экипажа и рапортовать о том, что замечено. Однажды я проезжал вместе с Зассом по кубанскому кордону, которым он командовал в то время. Коляска неслась во всю прыть отличных почтовых лошадей. Казак с ближайшего кургана поскакал к нам навстречу, вдруг, не останавливая коня, сделал вольт, выхватил из чехла винтовку, дал выстрел и, на втором вольте подняв с земли какой-то предмет, продолжал скачку. Когда он поравнялся с коляской, мы

разглядели у него в руке застреленного зайца; теплая еще кровь доказывала, что штука была не подготовлена заранее, а он действительно убил лежачего зайца, на которого случайно наехал.

В Автури дошло до нас весьма неприятное известие о сильном поражении, которое Кази-Мулла нанес гребенским казакам в недалеком расстоянии от Терека. Дней шесть спустя после герменчугского дела он показался со значительною партией по правую сторону Терека в виду станицы Червленной. Командир полка переправился за речку с тремя сотнями казаков и двумя конными орудиями и пошел навстречу неприятелю. Чеченцы стали отступать и завлекли полковника Волжинского в лес, находившийся от нашей границы далее двадцати верст, окружили там заранее спрятанную пехотой и разбили на голову его отряд. Не более половины казаков уцелели от побоища; Волжинский пал жертвой своей неосторожности, а оба орудия были потеряны. Неприятель не мешкая увез их в селение Бенной, лежащее в нагорной Чечне, известной на Кавказе под именем Ичкеры. Все без исключения приняли к сердцу эту неожиданную неудачу. Вельяминов хмурился, молчал, думал и, сидя на барабане перед палаткой, только ладонью смахивал пыль со своих рыжеватых бакенбард, заслуживших ему у черкесов название генерала-плинера (красного генерала), и обчищал рукава и полы у своего сюртука. Он был очень опрятен и не терпел на себе ни пылинки; в то же время любил он собак до крайности.

В минуту досады только собака могла его развеселить своими ласками. Ей позволялось прыгнуть на него с грязными лапами, замарать платье, лизнуть куда попало; он начинал ее гладить, называть по имени, и пасмурное лицо его прояснялось. Между собаками, бежавшими за отрядом, фаворитом его был большой черный Приблуд, принадлежавший батарее кавказской гренадерской бригады. И действительно, Приблуд был умная и верная собака, не изменявшая своим кормильцам артиллеристам и понимавшая вместе с тем значение своего покровителя, к которому она никогда не пропускала явиться, виляя хвостом, только он займет свое место перед огнем. Но тут все ласки, все прыжки Приблуда, которого с намерением подгоняли к Вельяминову, теряли свою успокоительную силу; он продолжал хмуриться и думать, не говоря ни слова.

Результат его размышлений и частых совещаний с корпусным командиром обнаружился, наконец, и для нас, хотя не прежде самой минуты выступления. Алексей Александрович вообще был несообщителен и отнюдь не любил огласки своих военных замыслов. На Кавказе очень был известен ответ, который он дал одному любопытному дивизионному командиру, спросившему у него однажды, на походе за Кубанью, куда идут. «Про то ведает барабанщик, он ведет; спросите у него, ваше превосходительство, а я ничего не знаю». Из походных приготовлений мы поняли, что решено идти в Ичкеру, отнять потерянные орудия и разорить Дарго, где Кази-Мегмет, проживавший в Гимрах, основал себе одновременно вторую оседлость. Для этой цели Вельяминов отделил от отряда: два батальона Бутырцев, батальон Московцев, батальон 40-го и батальон 41-го егерских полков, да два батальона Эриванских карабинеров с ротой сапер. Из нерегулярной пехоты пошел с нами Грузинский полк. Соображаясь с лесистою горною местностью, на которой нам приходилось действовать, Вельяминов повел при пехоте только четыре горные орудия, две мортирки, два легкие орудия в шесть лошадей, к ним по одному зарядному ящику в пять лошадей и два запасные лафета, да одну сотню линейских казаков и сотню конных татар. Пятьдесят воловьих аров везли за отрядом провиант с тем, чтобы на

обратном пути поднять раненых и больных. Численность этого отряда превышала с небольшим четыре тысячи пятьсот человек. Малое число артиллерии, кавалерии, казенного обоза и офицерских вьюков, сокращенных до нельзя, много уберегло нас от неудачи, какую в 1845 году понес в Ичкерийских горах князь Воронцов, у которого отряд был загромажден кавалерией и артиллерией, нигде не находившими места действовать и увеличивавшими только протяжение колонны на тесных лесных дорогах. Остальная часть нашей пехоты, с обозом, артиллерией и со всею кавалерией, должна была впоследствии перейти через Сунжу по направлению к Герзель-аулу и ожидать приказа, где остановиться.

VIII.

Утренняя заря не показалась еще на горизонте, когда ударили подъем 7-го сентября. Тяжелая минута вставать до рассвета под полотняным навесом палатки. Свежо, не хочется покинуть теплую постель, а спать невозможно: барабан без умолку стучит над самым ухом. Полы палатки откидываются, холодный утренний ветер проникает под одеяло, гнешься и тоскиво глядишь на картину вялого пробуждения лагеря. Солдаты вылезают из тесных палаток или начинают подыматься с росистой травы, если стояли биваком, обтряхивают шинели, обвивают портянками босую ногу, натягивают сапоги, потом надевают подсумки и застегивают ранцы. Все это, потягиваясь, зевая и с легкою побранкой на раннее время, на холод, на климат вообще, а случается и на начальство. Кое-где над догорающим костром денщик или казак, присев на корточки, наблюдает за чайником, в котором кипятится вода для господского чаю. Лошади ржут и нетерпеливо бьют копытом в ожидании утренней дачи. А барабанщик все продолжает обрабатывать туго натянутую телячью кожу. Входит денщик, в одной руке кувшин холодной воды, в другой стакан горячего чаю. Вскочить на ноги, ополоснуться, одеться, перекинуть шашку через плечо и сесть перед палаткой с чаем и трубкой не требует более пяти минут. Тем временем укладывают вещи, снимают палатку и выючат лошадей; говор и суета возрастают с каждою минутой. «Ну, шевелись, ребята! — кричит унтер-офицер, — Живо разбирай ружья; ранний поход, будет работа, такое уж заведение у начальства. Чай и чеченца барабан разбудил. Окаянный притаился за кустом, да и ждет!» Кавалерия седлает лошадей, орудия запрягают. Сидишь, смотришь на все это движение полусонными глазами, глотаешь горячий чай и пускаешь на воздух клубы синего дыма. В подобную минуту человек менее всего занят размышлением, если на нем не лежит какая-нибудь особенная служебная обязанность; да и ту он исполняет машинально, по принятой привычке. Нужны солнечный луч или сильный толчок со стороны, чтобы разбудить в нем усыпленные душевные силы. Барон Григорий Владимирович в фуражке без козырька, шинель в рукава, садится на свои походные кресла и заботливым глазом начинает следить за уборкой лагеря. Вольховский, в калмыцком ергаше, хлопчет с дежурным штаб-офицером, подзывает полковых командиров, расспрашивает лазутчиков, подписывает бумаги на спине казака, подставленной вместо пюпитра. Помню, как он морил и меня, приказывая будить ночью, а в своей палатке без огня расспрашивая по полчаса о дороге, о количестве запасного провианта, патронов и снарядов и как укорял, когда я не был в состоянии положительным образом отвечать на каждый вопрос. Дело офицера генерального штаба, говорил он в таком случае, заботиться обо всем, знать все, что касается до состава войск и до снабжения припасами всякого рода; для этого ему открыта канцелярия и предоставлено право расспрашивать проводников и получать сведения от начальников частей.

Позже начинают составляться офицерские кружки для распивания чаю с приправою толков о том, куда идут и чего можно ожидать от наступающего похода. У кого денщик опоздал его заварить или не достало припасов, идет к товарищам. Русские офицеры живут дружно, все делят пополам: и табак, и вино, и чай, и сахар. Приходи только за табаком со своею трубкой — в то время не знали папиросок — а к чаю со своим стаканом и собственным кипятком; время перед выступлением дорого, а медные походные чайники обыкновенно очень малы. В этот раз мне не удалось долго предаваться предрассветному безмыслию, ни толкам и распиванию чаю в компании товарищей. Вельяминов приказал мне идти в голове колонны с проводниками, которые должны были вести нас через Маюртупский лес по дороге к Белготою. Ударили подъем, отряд начал строиться, со всех сторон стали стягиваться батальоны, артиллерия въехала в свои места, застрельщики вышли вперед и растянулись хищною нитью по обе стороны густой массы войск. В это время показалась заря, и скоро после того солнце заиграло яркими лучами на штыках солдатских ружей. Перед нами чернел Маюртупский лес. Встретим ли мы там неприятеля и в каком числе, никому не могло быть известно. Лесную опушку заняли обыкновенным порядком, обстреляв ее сперва картечью. Чеченцы ни одним выстрелом не отозвались на наш огонь. Отряд вошел без сопротивления в глубину леса, через который змеилась арбяная колея, пробираясь сквозь кустарник и тесный лабиринт вековых гигантов, на каждом шагу загораживавших дорогу своими нависшими сучьями. Глубокая тишина нарушалась только шелестом листьев от застрельщиков, продиравшихся сквозь чащу и изредка брякнувшим ружьем. Версты две от входа в лес лежало поперек дороги дерево огромной толщины. Чеченцы, прикрываясь им, встретили убийственным залпом наших передовых застрельщиков. Резерв ударил в штыки, авангардная рота поддержала его, неприятель бросил засаду, но с той минуты загоралась сильная перестрелка. Для провоза артиллерии и обоза надо было очистить дорогу от баррикады. Саперы, шедшие в голове колонны, принялись за работу; стук топоров смешались с перекатами ружейного огня. Чеченцы, засевшие на деревьях, необычайно метко стреляли с высоты по рабочим, которых им легко было видеть; сапер за сапером падали убитые или раненые. Солдата три катались по земле в страшных судорогах и ревели от боли, получив самые мучительные раны, которые только могут поразить человека. Саперы бросили топоры и спрятались за деревья, а капитан Богданович схватил один из брошенных топоров, сел на лежащее дерево и принялся рубить со всего плеча так, что только щепки летели во все стороны, приговаривая: «Если солдатам прилипла охота по-бабьи пробавляться в холодку, то чтобы не нажить стыда, кому же за них работать, как не командиру?» Неглупые солдаты поняли сарказм, постыдились своей минутной робости и приступили к дереву с удвоенным усилием. Богданович, чтоб отвлечь мысли работавших от опасности, совершенно открытый для неприятельских выстрелов, стоял на завале и, посвистывая и пристукивая каблуками, забавлял солдат побасенками и прибаутками, которые он мастер был говорить. Работа уже подходила к концу, когда Вельяминову удалось пробраться до нас по тесной дороге и привести грузинских милиционеров, которые, рассыпавшись по лесу, отогнали чеченцев. Двенадцать саперов однако успели выбыть из строя, не считая пехотных солдат, подстреленных в цепи. На этом дело не остановилось в Маюртупском лесу. Около пяти верст мы прошли изредка меняясь выстрелами с неприятелем, всюду уступавшим дорогу, потом снова усилилась перестрелка с нашей правой стороны. Принуждены были усилить боковое прикрытие целым батальоном, потому что оно набрело на чеченские кутаны, то есть шалаши, в которых они спрятали в лесу свои стада и семейства. Тут дело, дошедшее до штыков и до шашек, кончилось тем, что с той и с другой стороны пали десятка два, и наши солдаты успели захватить разные съестные припасы и кое-какое совершенно бесценное тряпье. В плен отдались несколько

стариков и беззубых старух: все чеченцы и чеченки, обладавшие здоровыми и молодыми ногами поуходили в такую чащу, куда бесполезно было за ними гнаться. Перед захождением солнца мы вышли на открытое возвышение, у подошвы которого, с восточной стороны, текла река Гудермес, и расположились лагерем.

В начале ночи три пехотные батальона, грузинская милиция и четыре горные орудия, под командой Вольховского, были отправлены занять деревню Белготой, от которой дорога разделялась, на юг — в Дарго, а на восток — в Беной, куда чеченцы завезли орудия отнятые у гребенских казаков, полагая их в этом месте недосыгаемыми для русских войск, никогда еще не проникавших так далеко в чеченские горы. Несмотря на неожиданность этого движения и на ночное время, неприятель подметил его и с упорством защищал переправу через Гудермес. Когда мы днем пошли по следам Вольховского, вся дорога была усеяна патронами, растерянными нашими солдатами во время ночной перестрелки, что ясно доказывало нелепость подсумка, привешенного позади спины.

Так как на забаву легкомысленного человечества нет такого серьезного, даже драматического положения, которое бы совершенно обошлось без комической интермедии, так и на этом переходе случай, грозивший сначала ввергнуть в нештучную беду всеми уважаемого человека, потом обратился в сцену возбудившую всеобщий хохот. Нашего почтенного барона Григория Владимировича на волос не столкнул в овраг его собственный ординарец. Этот господин, состоявший при нем, кажется, по поводу родственных связей, от природы был одарен специальным свойством: с наивностью новорожденного делать всевозможные неловкости. Да и на него самого, как шишки на бедного Макара, сыпались самые забавные несчастья. Не только в штабе, во всем отряде его знали с этой увеселительной стороны; к сожалению, однако, его наивные проделки не всегда обходились без изъяну для других.

Палатка ли, развалившись, покрывала своего жильца; лошадь ли неслась с подвернувшимся вьюком, разметывая по полю чемоданы, кастрюли, бутылки, или кричали «Берегись! Жеребчик сбивает седока!» — не справляясь говорили: «это новое приключение с N». Еще в Тифлисе, до выступления в поход, разнесся однажды слух, будто денщик едва не отравил его. Тотчас навели справку и оказалось, что дело совершилось без всякого преступного намерения. Он отлично картонировал, беспрестанно занимался этим искусством, денщику только и приходилось что подавать ему потребные для того припасы. N* заболел лихорадкой, и когда он спросил прописанного доктором лекарства, верный слуга, по неизменной привычке, подал ему вместо микстуры полную ложку спиртового лака. Другой раз, вернувшись из путешествия, N* долгое время не мог показаться в люди, потому что лицо его опухло страшным образом — от порезанных десен. Подобную рану нажать, кажется, не легко; она прилась ему однако самым натуральным способом: сидя на почтовой телеге во время езды, он вздумал чистить зубы перочинным ножом.

В Галгаевскую экспедицию N* доставил нам удовольствие столько же забавного, сколько необыкновенного зрелища, в котором он разыграл роль не совсем завидную для джентльмена, коему, ради душевной невинности, отпускались такие грехи, за которые другого строго бы

осудили. Не отыскав другого товарища, он поместился в палатке у Гайты-баши, старого турка, которого мы, не зная право для чего, провели с его конвоем по галгаевским горам. Дней пять этого сожительства обошлись без приключений, хотя доброму мусульманину очень не нравились некоторые свиным мясом отзывавшиеся походные припасы господина N; на шестой день разразилась буря. Корпусной командир со всем штабом сидел на холму в ожидании насладиться видом солнечного восхода в горах. У наших ног расстился ряд палаток, которые мы готовились покинуть, потому что, как помню, это было в Шуани; между ними выше всех красовалась зеленая, круглая палатка, вмещавшая Гайта-баши с его товарищем. Турок творил утренний намаз, до нас долетал монотонный напев его молитвы. Вдруг он сменился яростным вскриком; N* до нельзя сконфуженный, выскочил из палатки, и следом за ним полетели чемоданы, кофейник, чайник, подушка и другие походные принадлежности, которые он, с призванным на помощь казаком и денщиком, поспешно стал подбирать. Это требовало пояснения, и мы не долго томились в неизвестности. N* пошутил с Гайта-баши: пока тот молился, он его мазнул по губам колбасой — за что со срамом был изгнан из-под гостеприимного крова зеленой палатки. Корпусной командир подозвал его, расспросил как было дело, сильно побранил, и кончил свою наставительную речь весьма нелестным заключением: — «а present je vois que vous etes un sot». N* вытаращил только глаза, а впрочем это начальническое решение скользнуло с него как с гуся вода.

Давно бы перестали помнить эти проделки, но N* не дремал; в Чечне, на первых же порах, он позаботился напомнить о себе. Где-то на привале Вельяминов давал завтрак для Корпусного командира; вокруг стола сидели на барабанах, и несколько их стояло в стороне для опоздавших офицеров. Когда N* подъехал верхом к самому столу, Алексей Александрович не замедлил сделать ему приглашение слезть и приступить к закуске. Пять минут спустя за нашей спиной раздался чрезвычайно громкий, но необычный стук барабана, в то же время со всех концов кричали: «держи! держи!»

Все оглянулись и — расхохотались: сцена того стоила.

Чья-то лошадь мотала барабаном, висевшим у нее на поводу, била его об землю, металась во все стороны, дыбилась, лягала и, чем больше прыгала, тем сильнее гремел барабан и увеличивал страх бедного животного. Насилу овладели ее бешенством. «Что за чудное дело, чья это лошадь?» — спросил Вельяминов. «Моя», — отозвался плачевным голосом N*. Не отыскав, кому передать лошадь, имея перед собой соблазнительный завтрак, он привязал ее к одному из запасных барабанов. Несколько минут конь простоял, наклонив голову, потом попытался ее поднять: барабан слегка пристукнул; мотнул мордой: и барабан загремел; тогда он поднялся на дыбы, и началась потеха.

Всем известный турецкий жеребчик, которого он вечно лечил весьма странными симпатическими средствами от не существовавшей порчи, не имел привычки повиноваться удилам, а возил его по собственному волеизъявлению, куда ему нравилось. Пошлют направо, он несет его, очертя голову, налево. Накануне выступления, в одну из таких скачек, он сбросил с лошади раненого в руку князя Кирбека.

В последнее время N* в самую минуту выступления уловчился выменять у какого-то пехотного офицера лошадь, окладом шеи и кверху задранной головы близко походившую на верблюда. Гордая осанка коня очень понравилась ему, и он пересел на него с видимым удовольствием. Прошло часа два со времени этого счастливого промена; мы подвигались по высокому и узкому гребню, на котором две лошади с трудом могли идти рядом. Корпусной командир имел возле себя Вельяминова, с которым говорил о чем-то занимательном, поглощавшем все его внимание. В свите сделалась вдруг тревога. N* неся на лошади, задравшей голову вертикально к облакам, растолкал народ направо, налево и, пролетев между бароном Розеном и Вельяминовым, первого из них задел с такою силой, что лошадь его, поскользнувшись, задом повисла над обрывом. Вельяминов, схватив ее за повод, успел спасти барона от решительного падения, которое бы наверное не обошлось ему без поломанных костей, а может быть, стоило бы и жизни. В десяти шагах от места происшествия, рьяный конь N* ткнулся мордой в землю и наездник поневоле, описав высокую дугу, полетел ему через голову. Добрый Григорий Владимирович, оправившись от неожиданного испуга, при виде этой сцены не удержался от смеха и наградил его только комплиментом: «je vois, je vois, vous avez un nouveau cheval, tout rempli de belles qualitees comme vous tete». Горемычная звезда, под которою родился N*, не помешала ему однако подвигаться, равняясь со всеми, на поприще службы и даже за нашу экспедицию попасть в гвардию. Бабушка либо тетушка для него ворожили.

Помечая на бумаге впечатления давно прошедшей молодости, по мере того как они возобновляются в моей памяти, я не упустил рассказать и о забавных похождениях господина N* в доказательство, что мы не всегда были заняты одними побоищами и нередко имели случай отвести душу на пустяках и посмеяться, как смеются только в те годы, в которые человека веселит каждый вздор.

Однако пора возвратиться к рассказу об Ичкерийской экспедиции. На другой стороне реки Аксай, через которую следовало идти в Беной, возвышался крутой, сплошным лесом покрытый гребень. Тесная дорога, заваленная деревьями в двадцати местах, поднималась на высоту, пролегая вдоль ската, обращенного к реке. Сто шагов над нею тянулся по горе крепкий завал, сильно занятый неприятелем. Когда мы со всем отрядом стали на позицию над крутым скатом к реке, тогда только Вельяминов разрешил Вольховскому идти к переправе с войсками, накануне отданными в его распоряжение. Два легкие орудия, наша единственная полевая артиллерия, открыли огонь по противоположному завалу; Пикалов командовал ими, сам командир, Э. В. Бриммер, направлял выстрелы, редкий снаряд не попадал, но это нисколько не смущало горцев; деревья, из которых они сплотили себе оборону, победоносно выдерживали огонь нашей немногочисленной артиллерии. Мы видели с нашего берега, как колонна переправилась через Аксай и, медленно поднимаясь в гору, исчезла в густом лесу. Эхо непрерывного ружейного огня разнеслось по горам; путь колонны обозначился двумя дымовыми полосами; огни сверкали с завала вниз, с дороги вверх. Иногда дым, не подвигаясь, начинал клубиться на месте, сливался в одно облако, сухой, отрывистый звук неприятельских винтовок покрывал шипучую трескотню солдатских ружей; ветерок переносил к нам пронзительное гиканье чеченцев, перемешанное с русским ура. Тогда Пикалов тотчас начинал посылать ядра в дымовую глыбу, нашим через голову, и ни одно не ложилось, куда не следовало. Артиллеристы Кавказской гренадерской бригады имели верный

глаз и знали хорошо свое дело. Дымовой клуб опять разматывался в две волнистые ленты, препятствие было уничтожено, отряд подавался вперед. Недолго неприятель безнаказанно пользовался выгодами своей, казалось, непреодолимой позиции; скоро обозначилась на горе, поверх завала, новая полоса дымков. Грузинские милиционеры обошли его, и по мере того как они проникали сквозь чащу, чеченцы были принуждены уходить. Перед вечером мы имели утешение видеть, как наши войска стали собираться на открытой вершине горы. Лес был пройден, успех предприятия почти верен; вопрос заключался только в том, найдутся ли орудия в Беное, и не успеет ли неприятель увезти их еще дальше в горы.

В этот день одно счастье спасло Вольховского от смерти. Колонна остановилась на половине подъема, ожидая пока расчистят два завала, один от другого не далее двухсот шагов. На каждом из них работали по две роты, стараясь столкнуть под гору огромные колоды, которыми была загромождена дорога. Не обращая внимания на предостережение Богдановича, советовавшего не идти без конвоя, он пошел к передовому завалу с одним юнкером Шиюевым, армянином, находившимся при нем в должности бессменного ординарца. Когда он удалился шагов на двадцать от первой баррикады, Богданович, распорядившись расчисткой, по какому-то необъяснимому побуждению послал за ним трех саперов, несмотря на запрещение давать ему провожатых. На половине дороги между двумя завалами в виду всех около десятка чеченцев неожиданно выскочили из кустов, мгновенно изрубили саперов, которые встретили их штыками, и погнались за начальником штаба. Ни с какой стороны нельзя было стрелять, не рискуя убить самого Вольховского; вовремя подоспеть казалось также невозможным; в несколько секунд его могли догнать и изрубить в куски. Шиюев его спас. Он загородил чеченцам дорогу и приложился в них, не выпуская заряда. Пока они колебались, кому идти на верную смерть, солдаты успели подбежать. Тогда чеченцы скрылись в лес так же быстро, как они из него вынырнули. Не будь саперов, которые, жертвуя собой, на несколько мгновений остановили неприятеля, да Шиюева, Вольховский не пережил бы этого случая.

На другой день, перед полуднем, мы получили первое известие от Вольховского. Лазутчик пробрался к нам в лагерь с запиской, в которой он уведомлял о возвращении потерянных орудий, найденных в глухом овраге, куда они были спрятаны бенойскими жителями. Эта новость произвела всеобщую радость в отряде. Хотя орудия сами по себе не стоили всех трудов, жертв и издержек на добычу их, однако не следовало оставлять подобного трофея в руках у горцев и не дурно было им в то же время дать урок в том, что отбивать у нас артиллерию вовсе не выгодно. При обратном следовании Вольховского по Аксаевской горе повторилось вчерашнее дело, с тою только разницей, что неприятель, будучи лишен возможности держаться в завале, устроенном продольно над дорогой, сильно наседавал на арьергард и возле самого спуска к реке успел даже отрезать полроты, которую Резануйлов выручил не без труда.

Десятого сентября войска отдыхали, исподволь скашивая поля, вырубая сады и разоряя белготойские сакли. Чеченцы по одиночке перестреливались с лагерною цепью, выезжали из лесу поджигитовать с казаками и татарами, но нигде не показывались в большом числе, приберегая свои силы на честные проводы, когда мы пойдем обратно. Накануне у нас были убиты несколько солдат и три татарские милиционеры. Их похоронили на месте прежней стоянки над Аксаем, под

бывшими коновязями, как было принято, с целью прятать могилы от чеченцев, не хотевших терпеть в своей земле даже наших мертвецов. В ночь чеченцы отрыли тела и, осквернив, выбросили наружу. Татар это озлобило до такой степени, что полдесятка их целое утро пролежали в засаде и захватили живьем чеченца, подкрадывавшегося к лагерю, притащили его к свежей могиле своих товарищей и там срезали ему голову, несмотря на брань, угрозы и даже действительные побои от вблизи случившихся русских офицеров.

На другой день Вельяминов с половиной отряда двинулся разорить Дарго. Через Аксай следовало переправиться четыре версты выше того пункта, на котором Вольховский переходил в Беной. Глубокий и крутой овраг отделял Дарго от Белготоя. На другой стороне раскрывалась обширная, совершенно ровная площадь, покрытая полями, садами и домами широко раскинутого селения. Со всех сторон она была окружена лесом и горами. Полевые орудия пришлось спускать под гору, сняв с передка и затормозив сучковатыми срубами, к которым они были прикреплены канатами за лафетный хобот. Тут мы сделались свидетелями эпизода, возможного только в кавказской горной войне. Хотя неприятель и отказался от всякого прямого сопротивления, выжидая, когда мы станем отступать, однако нашелся чеченец, который наперекор пословице, что один в поле не воин, с помощью Аллаха и своей винтовки решился защищать переправу через Аксай. Он засел на противоположном скате горы за толстым пнем и открыл огонь по людям, медленно спускавшим орудия на совершенно открытой дороге. Напрасно цепь стреляла по нем беглым огнем, напрасно горные орудия пускали бессильные снаряды против сырого пня, напрасно сам Вельяминов, старинный артиллерист, распоряжался двумя мортирками, стараясь навесным огнем выжить его из засады. Убив одного солдата и ранив двоих, он выскочил из-за пня, показал рукой, что выпустил все патроны, гикнул и бегом скрылся в лес.

Когда войска поднялись на Даргинскую площадку и заняли место, тогда Вельяминов поехал распорядиться дальнейшим ходом дела. Накануне еще было получено донесение о переходе через главный хребет до тысячи человек андинцев с целью загородить нам дорогу в Андию. Подъехав к цепи, стоявшей в расстоянии пушечного выстрела от опушки того самого леса, в котором наши добрые войска тринадцать лет спустя так дорого заплатились в известную сухарную экспедицию, мы действительно увидали перед собой немалую толпу конных и пеших горцев. Орудия стояли наготове открыть огонь. Алексей Александрович внимательно оглядел лес через свою коротенькую зрительную трубу, подумал с минуту, а потом скомандовал: «Орудия, на передки! Горнист, играй отступление!» — проговорил знаменательные слова: «В эту трущобу я не полезу, а дразнить их незачем». Отодвинув цепь насколько было возможно не нарушая безопасности войск, имевших задачей разорить Дарго, он приказал приняться за дело, не теряя времени. Помню я даргинскую кукурузу ростом выше человека на коне; много сабель поломали на ней наши татары, с ожесточением уничтожавшие все чеченское из мщения за поругание убитых товарищей.

Без выстрела мы разорили Дарго и вернулись в Белготой.

Двенадцатого началось отступление, не по старой дороге на Маюртуп, которую чеченцы перегородили бесчисленными завалами, а на Центури, Гурдали и вниз по левому берегу Акся к кумыкскому селению Хошгелды (Добро пожаловать). От Белготоя два лесистые гребня расходятся под острым углом, сначала поднимаясь, потом волнообразно спускаясь к Центури. Левый гребень командовал правым, по которому вела единственная дорога, удобная для следования обоза и артиллерии. Селение Центури лежало не далее шести верст от Белготоя. В одиннадцатом часу главная колонна, в которой находились оба штаба, полевая артиллерия, умножившаяся до — четырех орудий, потому что отнятые у неприятеля пушки были положены на запасные лафеты, которые мы привезли для этого дела, обоз и кавалерия, под прикрытием трех батальонов и грузинской милиции; двинулась в обратный путь. В арьергарде были оставлены возле Белготоя под командой генерального штаба полковника Зандена, исправлявшего при Вельяминове должность начальника штаба, егерский батальон Резануйлова, батальон М-ского полка и два горные орудия; а под начальством Пирятинского — два батальона его собственного полка, саперы и еще два маленькие единорога. Им было приказано начать отступление часа два спустя, когда обоз успеет перевалиться через гору. Одновременно выступив с белготойской позиции, Занден должен был идти по правой, Пирятинский по левой высоте. Алексей Александрович приказал мне остаться при Зандене; у Пирятинского находился генерального штаба поручик Калемберг. Во все утро неприятель не показывался и не разменялся с нами ни одним выстрелом; но это обстоятельство отнюдь не вводило нас в заблуждение: мы знали очень хорошо, что нас будут преследовать с полным ожесточением. По донесению лазутчиков не менее трех тысяч чеченцев собралось в окрестных лесах; кроме того, нельзя было думать, чтобы виденные нами вчера андийцы упустили такой удобный случай пострелять в гяуров во славу Аллаха и рада спасения своих грешных душ. Занден не скрывал от себя, что задача, выпавшая на его долю, была весьма щекотливого свойства, а потому с некоторым беспокойством ожидал минуты, когда нам позволено будет тронуться с места, ибо неизвестность, чем разразится бездействие неприятеля, для нас всех была крайне томительна. Хвост главной колонны не успел еще перейти за гору, когда из цепи дали знать, что против Пирятинского и против нашего правого фланга чеченцы начинают толпами выходить из лесу, и андийцы, простоявшие все утро на Даргинском плато, также спускаются под гору. Вследствие этого уведомления, Занден приказал мне сходить на правый фланг и, удостоверившись в справедливости показания, пройти потом налево вдоль всей арьергардной цепи; если где замечу какое-либо особенно важное обстоятельство, то, известив его через казака, не теряя времени скакать вдогонку за Вельяминовым и лично доложить ему обо всем. Занден не без причины рассчитывал, что в таком случае Алексей Александрович поспешит вернуться к арьергарду и своим присутствием избавить его от тяжелой ответственности. Направо от нас неприятель действительно показывался из лесу, не подходя однако ближе пушечного выстрела; в центре и на левом фланге, где в опушке густого леса лежали застрельщики от двух московских и двух егерских рот, господствовало полное спокойствие. Ни застрельщики, ни батальонный командир Резануйлов, беспрестанно обходивший цепь, не подметили в лесу ничего сомнительного; нигде следа человеческого присутствия, везде мертвая тишина; можно было слышать перелет птиц и жужжание жуков. Но именно эта тишина показалась мне слишком подозрительною. Во мне укоренилось убеждение, что неприятель показывается справа с одною целью отвлечь наше внимание, а всюю силой нападет на левый фланг в надежде опрокинуть его и очистить себе дорогу к главной колонне, отягощенной кавалерией и обозом. С этою мыслию в голове я поскакал догонять Вельяминова, не жалея своей лошади, и через несколько минут настиг его вместе с Вольховским позади обоза, медленно сходявшего под гору по причине очень трудной дороги.

Вельяминов со спокойным видом выслушивал мой доклад, заставляя повторять некоторые подробности. Вольховский нетерпеливо выжидал случая вмешаться в дело, и наконец у него вырвались слова: «Понять не могу, что вы говорите: неприятель сосредоточивается против правого фланга, а вы опасаетесь за левый».

— А я понимаю очень хорошо, — возразил Вельяминов. — Чеченцы показываются справа для того, чтобы нас обмануть, а налево прячутся в лесу с намерением озадачить наши войска неожиданным нападением. Батальон, налево кругом, скорым шагом! — скомандовал он егерям 40-го полка и сам поехал на рысях к арьергарду.

Вольховский, со своей стороны, отправился к Корпусному командиру доложить о происходящем.

— Кто у вас стоит на левом фланге? — спросил Вельяминов, пока мы ехали.

— Резануйлов со своим батальоном.

— Резануйлов! Этот зубаст, отгрызется! А в центре кто?

— М-ский батальон.

— Веди прямо к нему. За мной! — обратился он к егерям, догонявшим нас беглым шагом.

На высоком холме, служившем кладбищем для белготойских покойников, унизанном надгробными камнями и шестами, на которых развивались разноцветные флаги, стоял Занден, имея возле себя два горные орудия под командой поручика Павла Бестужева. Увидав батальон, шедший к нему на подкрепление, он счел ненужным долее мешкать и приказал протрубить отступление. Протяжный звук исполнительного сигнала, повторенный горнистами в цепи, не замер еще в воздухе, как ружейная пальба и пронзительный вой чеченцев слились в один общий оглушительный гул. Безмолвный лес ожил с такою неожиданною силой, что озадаченные М-цы быстрее, чем бы следовало, бросились от опушки под покровительство артиллерии, совершенно заслонили от ее огня чеченцев, бежавших за ними с обнаженными шашками. В этот самый момент мы поднялись на могильный холм, с которого была видна вся впереди лежащая местность и, понятным образом, не были обрадованы тем, что увидели. Егеря, поспевшие с нами почти в одно время, разом поправили дело. Две роты, не дожидаясь приказа, кинулись с высоты навстречу усиленным товарищам, пропустили их через свои ряды, разрядили ружья

неприятелю в упор и ударили в штыки. Осадив чеченцев, они быстро приняли в сторону и открыли дорогу для картечи. К несчастью, при третьем выстреле у единорога лопнула станина, ударив хоботом в камень — в горной артиллерии существовали тогда еще деревянные одностанинные лафеты — и мы были принуждены ограничиться стрельбой из одного только орудия.

На левом фланге неприятель повторил свой маневр еще с большим успехом, но по дыму и крику ясно было видно, что Резануйлов, оправдывая предсказание Вельяминова, огрызался как старый, травленный волк. Алексей Александрович хорошо знал людей и свое войско.

С этого началось дело, длившееся до солнечного заката.

Вельяминов лично стал распоряжаться отступлением левой арьергардной колонны. Во всю экспедицию ни разу мне не доставалось столько работы как в этот день, а сверх всего еще пришлось перенести гнев Вельяминова не за собственную вину. Отступали шаг за шагом с переменной цепи назад. Наше единственное орудие шло по дороге и удерживало неприятеля непрерывным огнем. Пока крайняя — арьергардная цепь, лежа, вела перестрелку, параллельно за нею располагались еще две цепи. Налево от дороги Вельяминов посылал своего адъютанта Ольшевского, направо — меня выбирать удобные места для застрельщиков и особенно скрытно размещать резервы и ротные колонны, на которые упирались фланги. Не прежде личного донесения от нас, что все находится в порядке, он приказывал для крайней цепи трубить разом три сигнала: — стрелять ускоренно, вставать и ретироваться бегом. В этих трех приказаниях заключался глубокий расчет, основанный на точном знании кавказской войны. Хладнокровные и опытные распоряжения Вельяминова уберегли двенадцатого сентября тысяча восемьсот тридцать второго года горсть русских войск от тех огромных потерь, которые после него понесли в Ичкерийских лесах два наши испытанные генерала с несравненно большими силами. Чеченцы потеряли охоту преследовать нас слишком горячо в последующие дни. Неприятель имел обыкновение, пока наши застрельщики лежат, сам приняв лежачее положение или прикрываясь кустами и деревьями, вести редкую перестрелку, сберегая заряды на случай, когда заиграют знакомый ему сигнал — отступать. Солдаты, поднявшись с земли, открывали тогда удобную цель для выстрелов; чеченцы, пользуясь этим, разряжали ружья и после того опрометью бросались в шашки. Вследствие приказа стрелять скоро, вдоль цепи образовывался густой дым, мешавший им в самую выгодную минуту верно целить, а потом вторая цепь встречала их беглым огнем почти в упор, когда они, обрадованные мнимым бегством наших застрельщиков, пускались их догонять. На случай, если б им удалось прорваться через вторую цепь, за нею лежала третья, через которую пробегали отступающие застрельщики с тем, чтобы занять позади новую, выгодную позицию. Два-три урока, данные чеченцам этим способом, принудили их быть осторожнее, а нас избавили от лишней потери.

Через два часа беспрестанной скачки, измученная лошадь упала подо мной; заводная была далеко; я пустился бежать по цепи. «Не бегайте здесь, берегитесь, убьют, убьют!» — кричали мне застрельщики, лежавшие за кустами и за бугорками. Хотел бы, да времени не было послушаться

их совета; к тому же дело происходило на глазах у Вельяминова, а в некоторых случаях он был хуже чеченца.

На высоте, откуда дорога начинала спускаться к Центури, он приказал прилечь целому пехотному батальону и не трогаться с места без особого приказания, рассчитывая под его защитой отвести фланговые цепи и не спеша расположить их на хороший ружейный выстрел от перелома местности.

Неприятель охватил батальон с трех сторон, но не тратил на него много выстрелов, выжидая, по своему обыкновению, когда эта сплошная масса принуждена будет подняться. Один Бестужев со своим орудием стоял на виду, и чеченцы не только били в артиллеристов, но даже пытались неожиданным налетом отнять единорог. Картечь и огонь от батальона осаживали их. Один раз они успели однако добежать, какой-то смельчак ухватился было за колесо, прислуга отскочила; тогда Бестужев выхватил у артиллериста пальник, сам приложил огонь к затравке, брызнул чеченцам в лицо полным зарядом картечи и, когда они разбежались, тем же пальником чувствительно напомнил солдатам, что и в крайнем случае не следует робеть.

Заняв для застрельщиков выгодную позицию, Вельяминов послал меня отвести батальон. При первом движении солдат приподняться, чеченские ружья затрещали со всех сторон, и они снова прильнули к спасительной матушке земле. Ни просьбы, ни увещания мои не понудили их тронуться с места. Без проку пробившись с ними несколько минут, я вернулся к Вельяминову под гору доложить, что батальон не идет.

Никогда не случалось мне видеть его в таком гневе.

Лицо залилось краской, глаза засверкали.

— Господин офицер, что вам было приказано? — крикнул он громовым голосом.

— Привести батальон.

— И вы осмелились не исполнить приказания! На гору! И без батальона не смейте казаться на глаза!

Что тут делать? Неожиданный взрыв Вельяминовского гнева совершенно меня ошеломили. Я не глядел на него, но чувствовал как глаза его впились в меня вопросительно, скоро ли я тронусь исполнить его волю. В эту минуту крайнего недоумения я увидел вблизи топографа Чуркина. Он был храбрый и расторопный малый; авось поможет, подумал я, и позвал его за собой на роковую гору.

Я повторил приказание командующего войсками — никто не шевельнулся. Тогда я приказал Чуркину поднимать офицеров и сам подошел к полковнику N* с покорнейшею просьбой встать на ноги. После того, уже общими силами, мы подняли солдат. Бывают такие минуты оцепенения и у очень хороших войск — в недобрый час. Чеченцы засыпали нас пулями. В первый момент не щелкнул ни один курок, но потом, будто очнувшись от сна, батальон открыл такой живой огонь что нас одело густым дымовым облаком, под защитой которого мы успели спуститься под гору, потеряв не более полудесятка людей. Вельяминов, увидав меня с батальоном, только кивнул головой.

В это время на нас обрушилась новая невзгода. Пирятинский, во всех отношениях хороший и храбрый офицер, вместо того чтобы держаться с нами на одной высоте, отступая по левому гребню, невзвестно почему очистил его гораздо раньше. Неприятель тотчас воспользовался его ошибкой, занял гребень и с высоты стал бить нас во фланг. Это обстоятельство принудило командующего войсками послать в овраг, разделявший высоты, наши две последние резервные роты, приказав им пробираться по лесу, отнюдь не представляя цели для неприятельских выстрелов, и оберегать только оконечность правого фланга от нападения холодным оружием. Мне же досталось отвести эти роты на указанное им место.

Над крутым спуском, в виду селения Центури, Вельяминов приказал арьергардным войскам прилечь и отдохнуть порядком перед последним и самым опасным моментом отступления, а сам уехал на противоположную высоту выбрать позицию для наших четырех полевых орудий. Пробыв еще с полчаса в арьергарде и убедившись в том, что его распоряжения в точности исполнены, измученный, голодный, едва передвигая ноги, побрел я к Вельяминову доложить насчет полной готовности войск по первому приказанию спуститься под гору. Застал я его возле батареи со всем штабом тотчас после закуски, как доказывали еще неубранные ковры, салфетки и приборы. Шагов двадцать в стороне Вольховский наблюдал в зрительную трубу за неприятелем, сбегавшимся к арьергарду.

Он первый заметил меня и нетерпеливо стал звать к себе. Почти в ту же минуту услышал я зов Вельяминова: пожалуйста сюда. Сперва следовало подойти к старшему, а потом принять приказание от младшего. Я направился к Алексею Александровичу.

— Все ли в порядке? — был первый вопрос.

— Все, как изволили приказать.

— А поел ли ты сегодня?

— Времени не было; с раннего утра ни куска.

— Ничего нет хуже, как храбриться с пустым желудком. Садись и поешь; закусывай, тебя не забыли и кое-что приберегли на твою долю. Сперва прошу, — прибавил он, — исполнить мое приказание, а потом можешь идти куда тебя звали.

Понятным образом, я не дал себе повторить другой раз такое душеполезное приказание и немедленно принялся за вкусные пирожки и жаркое, подносимые мне его поваром.

Вольховский был слишком умен, чтобы не понять в чем дело, когда он увидел, как я принялся закусывать; махнул рукой и отошел в сторону. Иронически сложенные губы видимо процеживали слова: только и думает о еде. Герменчугский обеденный стол еще не вышел у него из памяти.

Скоро после того артиллерия открыла огонь; на противоположной горе завязалась сильная перестрелка, и арьергард быстро спустился в овраг. Неприятель, встреченный от нас гранатами, картечью и градом ружейных пуль, как вкопанный остановился на высоте.

В нашей колонне потеря убитыми и ранеными доходила до сорока пяти человек; в числе последних находился майор Резануйлов; Пирятинский потерял двадцать пять, а у неприятеля, по сведениям от лазутчиков, убыль превышала двести пятьдесят и был убит влиятельный андийский старшина Муртуз-Али.

На второй день отступления мы расположилась ночевать возле селения Гурдали, известного во всей Чечне своими отличными орехами, сделав также короткий, семиверстный переход. Дорога вела через сплошной лес, и арьергарду не легко было отбиваться от чеченцев, наседавших на него как шмели, которых легче убить чем отогнать. В колонну стреляли только издали, с боков, не пытаясь загородить ей дорогу. Войска, постепенно выходя из лесу, стали группироваться в бивачном порядке на поляне, усеянной кипами ореховых деревьев и ограниченной с юга и с запада лесом, в котором еще дрался арьергард. Барон Григорий Владимирович слез с лошади и расположился закусывать. Солдаты разбрелись по поляне, и не устояв против приманки, полезли на деревья за орехами. Чеченцы мгновенно воспользовались этим обстоятельством, смяли слишком растянутых застрельщиков, густыми толпами высыпали из лесу и с криком бросились на

людей, рвавших орехи. Два батальона, схватив ружья, встретили их беглым огнем и оттеснили к опушке, но не могли загнать далее в лес. Пули сыпались на штабных офицеров, собранных в одну кучу, и на войска; озлобленные чеченцы стали метить в знакомых им Вельяминовских верблюдов и из семи троих убили. В это время Алексей Александрович находился еще с нами при арьергарде; услышав сильный огонь в тылу, он ускорил шаг, и мы выехали из лесу в одно время с двумя легкими орудиями, шедшими в хвосте главной колонны. Пикалов, командовавший взводом, наткнулся тут на два горные единорога и две мортирки, которые, неизвестно почему оставленные офицером, без видимого успеха стреляли в лес, откуда чеченцы отвечали метким ружейным огнем. Он тотчас принял начальство над батареей, приказав и своим двум орудиям сняться с передков. Проезжая мимо, я остановился возле него в то самое время, когда он влез на пенек, чтобы с него лучше разглядеть, где кроется неприятель. Не долго дали ему делать наблюдения с такого видного места. Через минуту он зашатался и с пня скользнул на землю; я соскочил с лошади ему на помощь.

— Пуля в груди, — проговорил он задыхаясь.

Поспешно расстегнул я сюртук — на рубашке ни капли крови; я распахнул ее, — против самого сердца виднелось синее пятно; однако на этом дело не кончилось: из левого рукава кровь лилась ручьем; ему перешибло три пальца, пронзило ладонь и тою же пулей контузило в грудь так сильно, что он в первую минуту и не чувствовал действительной раны. Носовой платок, который он держал скомканным в руке, ослабил пулю и спас его от смерти. Часто я видел на войне как самое мелочное обстоятельство, носовой платок, образ на груди, иногда одно движение руки, служили к спасению или на гибель человека. Пикалова все знали и любили; слух о его ране быстро разнесся по отряду. Корпусной командир тотчас прислал за ним своего адъютанта, но Пикалов отказался отойти от орудий, пока не пришлют офицера его сменить, и продолжал распоряжаться ими, обмотав носовым платком раненую руку. Если не ошибаюсь, его заменил молоденький артиллерийский подпоручик Воронов, и только тогда он отправился в лагерь для перевязки.

Два года спустя он умер от болезни: вероятно, контузия в грудь немало способствовала расстройству его здоровья и была настоящею причиной его кончины.

С прибытием арьергарда чеченцы, в свою очередь атакованные с тылу, были принуждены скрыться в глубину леса.

Ночь я провел в палатке у Пикалова, не смыкая глаз, поил его, переворачивал с боку на бок, подкладывал подушку под разбитую руку. Рана причиняла ему сильную боль и ему не удалось заснуть ни на одно мгновение. С вечера еще Ольшевский, адъютант Вельяминова, бывший у него правою рукой, передал мне приказание идти на другой день с проводниками в голове колонны и наблюдать, чтобы на первых порах не сбились с настоящей дороги, разветвлявшейся в Маюртуп и

к Хош-гелды, куда нам следовало идти. На маюртупской дороге, сильно баррикадированной, чеченцы ожидали нас в значительных силах; по дороге к Хош-гелды, пролегавшей по лесистому гребню над левым берегом Аксая, они оставили одни наблюдательные посты и устроили с десяток завалов. Чтобы поставить неприятеля в недоумение насчет действительно избранного нами пути, он приказал кавалерии сделать ложное движение по дороге к Маюртупу и того места, где Чуркин все еще меня поддерживал. Каждый старался сказать мне что-нибудь утешительное, положительно считая мою жизнь в опасности.

Один Вельяминов не терял слов на изъявление участия. Пристально взглянув на меня, он только сказал:

— А! Поздравляю с раной!

Вольховский сошел с лошади, и с истинно-непритворным участием расспросив как я себя чувствую, приказал поспешнее подвести арбу.

— Что за арба! — отозвался Вельяминов: — Носилки!

Носилки не водились у нас в то время, раненых выносили из дела на шинелях, и носилки надо было сделать.

— Жердей нет, — заговорили несколько голосов.

— Жердей нет в лесу? Смешное дело! Казаки с коня, руби кинжалами!

Через десять минут жерди были готовы.

Опять доложили, что веревок не имеется вблизи.

— Коли нет веревок, так есть запасные фитили.

Вблизи находилась артиллерия. Фитилями связали жерди, сделали носилки, накрыли их ковром, подложили кожаную подушку — не знаю, откуда все взялось — и, поместив меня, понесли за

войсками. Восемь линейцев и восемь пехотных солдат были приставлены меня нести и оберегать: так приказал Вельяминов. Прочих офицеров, у которых раны казались менее опасными, везли на арбах, в обозе. Чеченцы, заметив единственные в отряде носилки, вообразили себе, что им удалось подстрелить очень важного человека и во время нашего длинного перехода не раз пытались докончить меня пулями или добраться до меня с шашками, когда мои носильщики чуть отставали от шедшей впереди кавалерии или задний батальон несколько оттягивал. Тогда носильщики ставили меня на землю, казаки садились на присошки, солдаты становились вокруг и отстреливались, пока не являлась помощь. Этот переход был богат завалами; на каждом из них десятка два неприятельских ружей встречали наш авангард и потом быстро исчезали пред штыками застрельщиков. Сильно теснили левое прикрытие, да доставалась еще арьергарду его честная доля; много бы мы потеряли людей в этот день, если бы все чеченцы вовремя успели прибежать с Маюртупской дороги. Перед вечером дело приняло более серьезный вид; неприятелю даже удалось прорваться к арбам, на которых везли раненых, и изрубить человек десять этих несчастных. Дмитрий Алексеевич Всеволожский с помощью ближайшей роты спас остальных.

На первом привале меня вынесли на лесную площадку и поставили недалеко от Корпусного командира. К нему съезжались лица, принадлежавшие к его свите; показался и N* на своем верблюдообразном коне.

— Уберите, уберите N*, — закричал заботливый Григорий Владимирович, — он всех давит своим конем; сейчас раздавит нашего раненого.

Десять насмешливых голосов повторили за ним:

— N*, вас приказано «убрать».

И злосчастный наездник и его борзый конь, оторопев от такого бесцеремонного изгнания, принуждены были унести свою прыть подальше от моих носилок.

Потом случай свел меня с Пикаловым. На следующем привале я заметил офицера с подвязанною рукой, который дремал под деревом, узнал Пикалова и приказал поставить меня возле него. После некоторого времени он открыл глаза и вперил их в меня с удивлением, не узнавая в первую минуту.

— Это что такое?

— Как видите, не хочу от вас отстать.

— Да, вчера я, сегодня вы, каждому своя очередь; кто знает, кому суждено увидеть завтрашний день с целыми костями.

К нашей радости, все коротко знакомые встретили другое утро живые и здоровые. Мы вышли из Ичкерийского леса, не потеряв убитыми и ранеными более двухсот сорока человек, а может быть даже меньше. Мои пометки сгорели вместе с домом в нижегородской деревне и помнить все цифры невозможно. Хорошо еще, что происшествия, места, люди и все, что было ими сделано или сказано замечательного, с безошибочною точностию возрождаются в моей памяти, когда я обращаюсь мыслями к событиям прошедшего времени, разнообразившим начало моей жизни.

Переход показался мне бесконечным, да и войскам он пришелся невмоготу, а в лесу нельзя было ночевать без опасения крайнего беспорядка, которым неприятель непременно бы воспользовался. Ночь давно уже наступила, когда дальний ряд лагерных огней возвестил нам близость вагенбурга, ожидавшего нас на Кумыкской плоскости. На крутом, неровном спуске мои носильщики спотыкались на каждом шагу и поддавали мне толчки, от которых в ране резано как ножом. Усталые солдаты налегали на нас, падали и напарывались на собственные штыки, угрожавшие и нам немалую опасностию. При выходе из лесу нас ждал линейец, которому было приказано отвести мои носилки прямо к Вельяминову, опасавшемуся, чтобы в суете ночной расстановки бивака, меня как-нибудь не задавили. Меня поднесли к огоньку, у которого он грелся, и поставили плотно возле его барабана; тут я находился под хорошею защитой. Один Приблуд, бывший уже налицо, смел подходить и обнюхивать меня, виляя пушистым хвостом. После того Вельяминов приказал разбить для меня палатку подле своей кибитки и в ночь еще прислал походный тюфяк, которого у меня не было, и чашку бульону.

На другое утро Корпусной командир, Вольховский и прочие отрядные власти почтили меня своим посещением, Вельяминов, занятый делами, не приходил, но продолжал заочно давать мне доказательства своей внимательной заботливости.

Денщик мой, по складу своего сердца предпочитавший скучному бдению у постели раненого приятное препровождение времени «в три листика» под сению маркитантской палатки, ночью скрылся от меня на весьма продолжительное время. Одеяло сползло, сам я не имел силы и от боли не мог поворотиться; я звал, звал денщика и наконец с досады принялся стонать. Тогда раскрылась палатка, и предо мной явился Алексей Александрович, в тулупе, со свечой в руках.

— Что ты охаешь, дражайший, — спросил он, — разве так болит, что не можешь вынести?

Я рассказал ему причину моих стонов. Он сам помог мне во всем, послал отыскать веселонравного денщика и остался у меня, пока не привели раба Божия, дрожавшего как осиновый лист, потому что он знал привычку Вельяминова не шутить в подобных случаях.

Трое суток Алексей Александрович продержал меня под своим надзором, при себе велел наложить вторую перевязку и, оставшись доволен состоянием раны — он сам знал медицину — нашел удобным отправить на Линию вместе с прочими больными и ранеными, которых должны были отвезти в Грозненский военный госпиталь. Не вполне доверяя хорошему устройству его, он письмом просил майора Макарова, назначенного командиром Гребенского казачьего полка на место убитого Волжинского, принять меня к себе в дом для лечения, а майору Каличевскому, долженствовавшему конвоировать нас с батальоном Херсонского гренадерского полка, приказал нести все время на носилках и из Умахан-Юрта отправить на Терек под прикрытием целой роты. Не знаю, чем мне удалось в то короткое время, которое я прослужил на глазах у Вельяминова, приобрести его расположение. Во всяком случае, память о душевной внимательности, которою этот замечательный человек отличил меня во дни моей ранней молодости, всегда служила для меня верным утешением и укрепляла мое терпение, когда я после того встречался с людьми, находившими удовольствие делать мне положительный вред или сорить в глаза шутовским чванством. Впрочем, я давно покончил с ними все свои расчеты: на одних посердился, пока от них страдал, над другими насмеялся вдоволь, пока они были у меня на глазах, а потом забыл их всех, будто никогда не знавал и не видывал.

Перед выступлением колонны все знакомые пришли меня проводить. Далеко еще шел за мной Богданович, у которого в саперной роте были сделаны для меня новые носилки, и все спрашивал довольно ли они покойны. Многие полагали, что я не переживу раны, и Богданович был из числа не веривших в мое выздоровление. Бедняк, прощаясь со мной со слезами на глазах, не думал тогда, что не я, а он сам через месяц распрощится с жизнью.

До крепости Грозной шли трое суток. Нестерпимая жара, господствовавшая на терекской низменной плоскости, пыль и комары были для нас истинным мучением. За каждым шагом носильщиков, залитых потом и шатавшихся от изнеможения, осколки кости, засевшие в ране, кололи мне в живое мясо как раскаленные иглы. Было очень больно; но я крепился духом. Стыдно было бы роптать в виду страданий прочих раненых, которых везли на арбах степью, по неукатанной дороге. При трехстах больных и раненых находились только один лекарь и два фельдшера; больше нельзя было отделить из отряда, не окончившего еще предположенных военных действий. Им физически было невозможно за всеми присмотреть и как бы следовало перевязать во время ночлега. После этого короткого, но весьма неприятного странствования я с радостью увидел берега Терека и почувствовал истинное наслаждение, когда у Макарова меня уложили на мягкую, чистую постель в светлой и опрятной комнате. От жару, пыли и плохой перевязки рана пришла в весьма дурное положение; нога онемела, пах распух. Макаров осмотрел больное место, ничего не сказал, но тут же предложил мне помимо его довольно плохого полкового лекаря прибегнуть к искусству азиатца, весьма удачно лечившего казаков, пострадавших в несчастном деле покойного Волжинского. Через несколько часов привезли из-за Терека кумыкского гакима Чурукая, который с первого взгляда объявил рану очень «яман»,

однако обещал с помощью Аллаха поправить дело, обложил пах компрессами из холодного рассола, помазал какую-то душистою мазью и, когда исчезли появившиеся признаки гангрены, продолжал пользоваться своими привычными простыми средствами, медом и свежим коровьим маслом. Азиатские лекаря отлично умеют пользоваться раны всякого рода и сращивают раздробленные кости даже в тех случаях, в которых европейские ученые хирурги признают необходимым ампутировать. Вместо корпии, запускаемой у нас в рану помощью зонта — операция, заставляющая пациента страдать каждый раз нестерпимым образом — они употребляют фитиль, вырезанный из бараньего курдюка, который входит без малейшей боли. От микроскопических осколков кости, неосязаемых никаким инструментом, Чурукай освобождал мою рану весьма практическим способом: обвернув кончик гибкого, тоненького прутика сырцовым шелком, он запускал его во внутрь раны, повертывал, а потом вытаскивал вместе с осколками, цеплявшимися за сырец.

У Макарова я пролежал три недели, пользуясь самым внимательным уходом, без сомнения в угождение Алексею Александровичу, ибо на мой счет я этого внимания принять не мог, увидав моего хозяина в первый раз, когда меня привезли к нему в дом. Потом меня перевезли в Наур к Зассу, который, уезжая в отряд после излечения герменчугской раны, настоял на этом перемещении во внимание того, что сам Макаров должен был идти в поход, а у него оставался в доме очень надежный человек, его камердинер, курляндец Берх. И действительно, Берх был отлично честный и аккуратный, но несколько говорливый субъект.

Пока я лежал в Науре, слушая нескончаемые рассказы Берха о курляндских, мне тогда совершенно незнакомых порядках, наш отряд сходил в Гимры. Взятие этого селения и гибель убитого в нем Кази-Мегмета известны мне только из рассказов товарищей. Настойчивость Вельяминова и тут, устранив все препятствия, привела к результату, которого почти не ожидали. Отряд стоял над спуском в ущелье Койсу, имея снег по колено; внизу, четыре тысячи футов под ним, виноград висел на лозах. Дороги не было видно; кое-где по отвесным скалам проявлялись следы часто прерываемой тропинки. Горцы полагали положительно невозможным для русских от Караная спуститься к Койсу — в последствии этот сход был нами разработан; укидали однако, на всякий случай, бока ущелья множеством завалов и перегородили его впереди селения трехсаженною каменною стеной, фланкированную двумя крепкими башнями. «Разве с дождем сойдете вы к нам», — кричали гимринцы нашим солдатам. «Они забыли, что кроме дождя и камни падают с гор», — приказал отвечать Вельяминов. Стали расспрашивать лазутчиков, можно ли сойти в Гимры с этой стороны. Все решительно утверждали, что тут не сойдет человеческая нога и указывали на путь, ведущий вниз с противоположного хребта. На обходное движение следовало потерять по крайней мере неделю, а время было дорого, октябрь был уже в половине, и окрестные горы стали покрываться снегом. Вельяминов сам принялся за расспросы.

— Если люди здесь не ходят, то не случилось ли кому видеть как бежала собака?

— Собака, пожалуй, пробежит. Вопрос показался забавным.

— Где собака пробежит, там пройдет и русский солдат.

Такое заключение сделал Вельяминов, приказал идти, и весь отряд, с помощью веревок, шестов и лестниц, спустился в пропасть под неприятельскими выстрелами и принес еще два горные орудия.

В ущельи наши войска встретили упорное сопротивление. Два раза штурмующее батальоны были отброшены и принуждены искать за выступами скал спасения от убийственного огня, поражавшего их из-за стены и с боковых завалов. Лестниц вблизи не было; стеною можно было овладеть только через отверстие, не шире человеческого туловища, оставленное горцами для сообщения. Вельяминов пришел, приказал поставить барабан в виду оборонительной стены, сел на него и принялся рассматривать неприятельские укрепления. Офицеры и казаки его окружали. Неприятель обратил на него все свои выстрелы, но это нисколько не смущало хладнокровного генерала; он продолжал свое дело.

Состоявший при нем капитан Бартеньев, получив рану, упал к нему на плечо.

— Дражайший, мог бы выбрать другое место, чтоб упасть, — обратился к нему Вельяминов и опять приставил к глазу зрительную трубу.

Князь Дадиан, командир Эриванского полка, подбежал к нему с горячею просьбой пожалеть свою драгоценную жизнь и уйти с этого места.

— Да, князь, — ответил он, — здесь действительно очень опасно, только не для меня, а для вас, поэтому не угодно ли вам с батальоном идти в гору и прогнать неприятеля из завалов, справа фланкирующих стену.

Это был сарказм не на словах, а на практике. Карабкаться по скалам, штурмуя завалы, жгло жарче пуль, летавших около Вельяминовского барабана.

Когда эриванский батальон, выбивая неприятеля, на полугоре поравнялся с поперечною стеной, было приказано снова идти на штурм. В голове колонны находилась саперы и сотня гребенских казаков под командой майора Каде. Проходящим мимо него батальонам Вельяминов погрозил только пальцем при слове: «Ни пяди назад», и Гимры были взяты. Первые проскочили в узенький проход, на два аршина поднятый от земли, несколько человек саперов, за ними казаки и потом

пробралась пехота. Натиск был так стремителен, что Кази-Мегмету не удалось уйти из башни, в которой он сидел; ее обошли с тылу, и тут повторилась сцена герменчугской обороны. Вельяминов прошел на другую сторону через отверстие, расширенное саперами, и опять сел против самой башни, в которой ни сколько не чаяли Кази-Мегмета, полагая что он, по принятому обыкновению, давно успел привести в безопасность свою священную особу. Два горные орудия пытались разбить башенную дверь. Гребенской казак показал при этом случае редкий пример преданности. Из одной бойницы, пробитой в башне немного выше человеческого роста от земли, целили прямо в Вельяминова; несколько пуль уже просвистали над его головой, казак поднял плоский камень, разбежался к башне и, прильнув к стене, заткнул там опасную бойницу. Изнутри отталкивали камень, казак нажимал его сильною рукой; несколько минут продолжалась борьба; солдаты бросились к нему на подмогу, но не успели подбежать; камень выпал из рук, ему обрезали пальцы кинжалом, а в то же мгновение пистолетная пуля покончила удалого молодца, пожертвовавшего собой для сбережения своего, столько же строгого, сколько достойного начальника.

Богданович с егерским батальоном, над которым он принял начальство после раненого Резануилова, выбивал неприятеля из нагорных завалов с левой стороны ущелья. На высоком шпиле перед последним завалом его поразила смертельная пуля. Солдаты, любившие его как отца, рассвирепели и, не давая пощады, сорок лезгин сбросили в пропасть.

Албранд был ранен пулей в грудь и, не будь на нем широкий медный образ, изменивший ее направление, он лег бы тут костьми.

Казак и саперы ворвались наконец в башню и перебили всех ее защитников. Когда вытащили тела, находившиеся при этом горцы с ужасом узнали между ними Кази-Мегмета, а наших чрезвычайно обрадовало такое неожиданное открытие, возбуждав миролюбивые надежды, которые, впрочем, не сбылись. Дальние приверженцы его не хотели верить в смерть своего имама; для убеждения их принуждены были выставить тело на показ. С воплями собирались они к нему и, удостоверившись наконец в том, что святость мусульманская действительно не спасла его от русского штыка, стали являться с повинною головой и просить пощады у красного генерала. Капитан Бестужев-Рюмин срисовал мертвого Кази-Муллу; потом рисунок его был литографирован в чертежной тифлисского генерального штаба, где, полагаю, и теперь еще существуют несколько экземпляров.

При взятии гимринских завалов и драке в селении, 17-го и 18-го октября, выбыло из строя до трехсот человек.

Весь Дагестан и обе Чечни покорились русской власти, но не долго длилась их принужденная покорность. Гамзат-бек аварский объявил себя наследником духовной власти, принадлежавшей убитому Кази-Мегмету, стал во главе мюридов и полгода спустя снова принялся волновать горцев.

В последних числах октября распустили войска на зимовые квартиры. Барон Розен уехал в Тифлис через южный Дагестан, Вельяминова ждали на Линии. Это был конец во всех отношениях удачной экспедиции тысяча восемьсот тридцать второго года.

IX.

Скучно было мне лежать в опустелом доме, без всякого занятия, без книг и без журналов, которыми, признаться, закоренелые кавказцы тогда очень мало интересовались, имея слишком много собственного дела, поглощавшего все их внимание. Широкий турецкий диван, на котором я помещался, стоял в глубокой нише, украшенной собранием литографированных красавиц, бывшим в те времена в большом ходу и проникшим даже в самые отдаленные концы Кавказа. С утра до позднего вечера для меня открывалось одно дело: принужденно неподвластным взглядом изучать облики всех этих большеглазых, жеманных Сидоний, Меданий, Изидорий и Аврор, а слив их в один общий очерк, составлять себе идеал красоты, способной на веки приковать мое сердце, если только судьба сподобит отыскать его на деле. Эта мысленная работа очень скоро обратилась в совершенно бессмысленное глядение на стену, от которого рябило в глазах, и я всегда был рад, когда старик Берх или мой лекарь Чурукай своим присутствием выводили меня из томительного состояния созерцательного безделья. Слегка поворотив голову — другое движение было мне запрещено — я мог видеть станичную площадь через низенькое окно, но и там находил мало пищи для любопытства. Она почти всегда оставалась пустою и оживлялась только в случае тревоги. Несмотря на покорность, изъявленную горцами после экспедиции, прорывы чрез кордон не успели еще совершенно прекратиться. Иногда они делались с прямою целью воровства; иногда только ради мщения. Раз два в неделю поднималась ночью тревога. Топот скачущих лошадей будил меня; резерв собирался на площади; разносились по улицам призывные клики казаков и голоса казачек, которые никак не упускали случая вмешаться в дело, языком всегда, а иногда и ружьем. В Моздокском полку тогда живо еще хранилось предание о том, как казачки в старое время отстояли Наурскую станицу против кабардинцев, обороняясь, пока мужья не вернулись из партии, и не выручили их, разбив неприятеля на голову. В воспоминание этого подвига ежегодно праздновался в Науре так называемый бабий день, в продолжение которого бабы и девки царствовали в доме и на улице, что в обыкновенное время не подходило к казацкому порядку.

На утро после каждого ночного происшествия Берх не пропускал вместе с чаем наделять меня подробным о нем рассказом. То отогнали лошадей и быков, то подстрелили казака на пикете, зарезали старика на пчельнике или захватили ребятишек, без спросу убежавших в виноградники. Один из этих случаев, выходящий из ряду обыкновенных покушений, стоит рассказать подробно.

Несколько раз упоминал я о секретах, которые имели привычку выставлять на кордоне, вдоль Кубани и Терека; поэтому не стану повторять моих прежних пояснений, а прибавлю только, что происшествие случилось на секрете в начале декабря, при очень чувствительном холоде, и когда

по Тереку шла «порошня», то есть река еще не замерзла, но уже гнала льдины. Полагая, что в такое время никакая живая тварь не сможет переплыть через реку, и холод да льдины совершенно оберегают их от вражеского покушения, пять казаков вместо того, чтобы лежать в секрете со всегдашнею осторожностью, развели на берегу Терека огонек, да возле него и заснули. На счастье, один из них проснулся и пошел подсмотреть, не пробрался ли пожалуй урядник поверять, как казаки исправляют службу на кордоне. Возвращаясь к огню, он остолбенел от удивления. Возле его спящих товарищей стояла странная фигура: неизвестный человек, как Бог его сотворил, грел руки над огнем.

Казак остановился поглядеть, что будет дальше.

Нагой незнакомец только и имел на себе, что пояс, на котором висел кинжал. Погрев руки несколько мгновений, он стал хватать его за рукоятку; окоченевшие пальцы не сжимались.

Казак догадался, кто он таков; потихоньку вынул ружье из нагалища и приложился, однако придержал выстрел, размышляя: от пули не увернется, так погожу еще да посмотрю, как станет нехристь изловчаться.

Ночной гость снова принялся отогревать руки, опять стал браться за кинжал и вторично не стиснул замерзшей руки; тогда он сунул ее прямо в угольный жар.

«Нет, брат, погоди, — подумал казак, — дело не хорошее»; спустил курок, и нагая фигура повалилась в огонь.

Сонные казаки встrepенулись; по выстрелу поднялась тревога; прискакал постовой офицер и дознал в чем дело. Чеченец из-за Терека увидал огонек, освещавший спящих казаков. На русских у него была канла, душа не вытерпела, он разделся, бросился в мерзлую воду и переплыл через реку напиться вражьей крови. Помешали ему окоченевшие руки, да случайно пробудившийся казак, не то секретные поплатились бы головами за свою неосторожность.

Долее трех недель продолжалось мое одиночество, и во все это время только одно обстоятельство заняло мое размышление, заставив подумать о служебной будущности. Возле Темир-Хан-Шуры я получил от Вольховского письмо, в котором он спрашивал, какой желаю я для себя награды, перевода в гвардию или в генеральный штаб, и в самых убедительных выражениях уговаривал после излечения вернуться в Тифлис и по-прежнему продолжать службу в его непосредственном ведении. В Тифлис манили теплый климат, прекрасная природа Грузии и веселая городская жизнь, кроме того дружеский тон письма увлек мои чувства и, не зная про

желание Вельяминова меня удержать, я ответил утвердительно, отклонив только перевод в гвардию, предпочитая служить в генеральном штабе.

Скоро после того Засс вернулся из похода. Дом оживился множеством гостей, по большей части ехавших по Линии в Ставрополь и в Тифлис. Завелась самая шумная жизнь: обеды и ужины с легкими попойками, поутру охота, вечером игра в карты. К этому времени и я поднялся с постели, недели две походил на костылях и потом воспользовался собственными ногами. В середине ноября я уже мог сидеть на лошади и был на заячьей охоте хотя и без особенного удовольствия, а более из подражания, чтобы не отстать от других. Не люблю я слышать жалобный ребячий крик подстреленного зайца и даже в молодости готов был охотиться за зверем, с которым встреча сопряжена с некоторою опасностью, но никогда не находил удовольствия бить безвредное животное и особенно бедных птиц. Понимаю, что человек набивает себе голодный желудок разною живою тварью — слабый создан сильному на съедение — и сам питаюсь помощью этой нечистой привычки; но не могу понять забавы, обращенной в благородное искусство убивать красивых, веселых и невинных жильцов леса и полей, ежели кого нужда не осудила на это ремесло. У каждого, впрочем, свой взгляд и свои склонности; не стану спорить и доказывать, как мало требуется ума и души для практикования высокой охотничьей науки. На это могут сказать: а война, в которой бьют людей? Отвечу, что никогда войны не любил, и считаю ее глубоким злом, неотвратимым однако, пока человечество не освободится от гнета жалкого невежества, искони веков враждующего против правды и справедливости. До той поры одна сила способна приводить людей в рассудок и сберегать между ними принужденный порядок или служить к их крайнему унижению, если завладел ею бездушный честолюбец. А отдал я себя на службу этой силы не ради удовольствия глядеть, как бьют людей, а с желанием, в числе других, упорствовать против существующего зла и на защиту родного края пожертвовать и мою лепту пота и крови.

Засс, вернувшись из отряда, передал мне приказание от Вельяминова, если рана даже залечилась, не уезжать из Наура прежде, чем он сам приедет и удостоверится, в силах ли я перенести зимнее путешествие. Эта заботливость снова обратила мои мысли к Алексею Александровичу и, признаться, заставила меня пожалеть об ответе, который я дал Вольховскому насчет моего возвращения в Грузию. Меня сильно к нему влекло, но дело было решено; отказаться от своего слова я считал слишком неблагородным. Во второй половине ноября Вельяминов приехал в Наур и прожил двое суток в доме у Засса. Он был очень занят делами и после первых двух слов, коснувшихся до раны и до здоровья, призвал меня не прежде другого дня.

Тогда уже он был принужден, по причине грудного страдания, проводить большую часть дня в лежачем положении. Он принял меня лежа на походной кровати с руками, заложенными под голову. Первое слово его было:

— Ну, дражайший, теперь ты выздоровел, готовься ехать в Ставрополь; я хочу просить Корпусного командира совершенно отдать тебя в мое распоряжение. Не правда ли, ты с этим согласен?

— Согласен, Алексей Александрович, да нельзя.

— Отчего нельзя? Тебе будет у меня хорошо; летом мы поедем в Пятигорск, где ты закончишь лечение; ты будешь жить у меня и ни в чем не станешь нуждаться.

— Понимаю все выгоды остаться при вашем лице, да нельзя. Я рассказал ему про письмо Вольховского и про мой ответ.

Он пожелал видеть письмо, прочел его, повертел в руке и сказал:

— Против письма нечего говорить, он, кажется, желает тебе добра, но в силах ли будет исполнить все обещанное — требует доказательства. Жаль, что поспешил ответом, слова нарушать не должно, поэтому отправляйся с Богом; но помни, что если тебе станет там тяжело, то я всегда охотно готов тебя принять. Ты еще молод, рвешься куда не нужно, тебя истощат, а я бы тебя поберег да со временем сделал настоящим человеком.

Потом он переменял разговор и более часу расспрашивал о прежней службе и о том, что случилось заметить, изредка вмешивая слово и поправляя меня, когда мои заключения отзывались неопытностью. На отъезде, сидя уже в коляске, он мне сказал:

— Пожалеешь, что не поехал со мной.

Действительно, при Вельяминове, может статься, вся моя жизнь и служба сложились бы совершенно иначе. Под его руководством я бы в несколько лет дошел до того взгляда на вещи, который мне дался гораздо позже, после многих горьких уроков и то, быть может, не в самом верном практическом направлении. Однако тут нечего жалеть, и так моя жизнь обошлась не дурно; не нахожу причин жаловаться на судьбу и на людей. Не досталось мне одно добро, так я воспользовался другими благами сего мира и теперь безропотно взираю на прошедшее, с покойным духом ожидаю будущего.

Позже я только раз представился ему в Пятигорске перед пленом. По прежнему он был ласков со мною и после того много хлопотал о моем освобождении. Когда я после двух лет вернулся на русскую сторону, его уже не было в живых. Доктор Мейер, находившийся при нем в последние минуты вместе с Ольшевским, часто повторял мне рассказ о его кончине. Вельяминов жил и умер со стоическою твердостью, в полной памяти, ни на мгновение не изменив своему характеру. Чувствуя приближение смерти, он из закубанского отряда выехал в Ставрополь, привел в порядок

служебные и домашние дела и спокойно стал ожидать конца. Руководимый своими познаниями в медицине, он следил за болезнью так верно, что предсказал время печального исхода, обманувшись только одним днем, и в последствии поправил даже эту ошибку. Накануне им самим назначенного дня, Мейер и Ольшевский обедали у него в кабинете возле покойных кресел его. После обеда Ольшевский ушел по всегдашнему обыкновению, и Мейер хотел идти, не замечая еще у больного предсмертной перемены. Вельяминов его остановил.

— Не уходи, Мейер, иначе меня более не увидишь. Я ведь ошибся: сегодня умру, а не завтра. Мейер стал его обнадеживать.

— Не теряй слов по пустому. Я лучше тебя знаю. Посиди еще. Теперь я засну, одолевает дремота, но не бойся, это еще не конец, я проснусь перед тем.

Мейер остался и внимательно следил за больным; пока он дремал, лицо стало изменяться, дыхание спиралось в груди, но сердце билось. Вдруг он раскрыл глаза.

— Прав я был, когда сказал, что проснусь, а теперь всему конец.

Прощай.

С этими словами он заснул на веки.

Кавказ и все, знавшие каков он был, действительно много потеряли с его смертью.

В конце ноября я распростился с Науром, унося с собой весьма выгодное впечатление и привязавшись к Зассу, у которого считал себя в неоплатном долгу за действительно тщательный уход в его доме. До Тифлиса ехал я не спеша, чтобы не разбредить свежей еще раны. Во Владикавказе пробыл я три дня, навестил мою прежнюю хозяйку и не забыл взглянуть на знакомых с первой оказии ставропольских институток. Они по-прежнему чопорно жеманились, тратя свой легкий ум и сомнительную грациозность на подражание вечно от них ускользавшему *cotte ilfaut*, подмеченному у каких-то проезжих московских или петербургских барынь. Быть может, я сужу слишком строго о моих владикавказских девицах, но после Тифлиса они потеряли много прелести в моих глазах. У них в доме я имел однако случай полюбоваться дочерьми плац-майора Курилы, только что расцветавшими девочками истинно редкой красоты. Одна из них сделалась в последствии супругой генерала Нестерова, так несчастливо кончившего существование от мозговой болезни.

По дороге к Тифлису, между Дарьяльским постом и Казбекскою почтовою станцией, меня ожидала громадная лавина, упавшая с вершины Казбека. Засыпав снегом и горами гранита и порфира тринадцать верст своего пути к Тереку, она загромодила ущелье во всю ширину, на протяжении трехсот сажен. Проезд по Военно-Грузинской дороге прекратился в заваленном месте; почтовые лошади подвозили к подножию выросшей на пути снеговой горы, по другую сторону свежие тройки принимали путешественника. На завал приходилось подыматься по ступеням, вырубленным во льду. Посредине снеговой массы образовалась расселина сто футовой глубины, через которую для перехода были переброшены доски. Расселина эта на другой год до того расширилась, что принуждены были переправлять через нее в висячем ящике, ходившем на блоках по толстым канатам. Казбекский завал до того времени падал периодически через каждые семь или девять лет. После того я не слыхивал о повторении явления в таких огромных размерах.

В Тифлис я прибыл накануне 6-го декабря. Тогда это был великий день для целой России и, не говоря уже о Петербурге, не было губернского города, в котором бы он не праздновался молебствиями, официальными обедами у старших властей и балами. Городские красавицы нетерпеливо ожидали наступления этого дня и за месяцы готовили самые поразительные туалеты. И в Тифлисе готовился бал у Корпусного командира, на котором я имел право присутствовать в числе прочих, находившихся налицо офицеров. Праздник у главноуправляющего Кавказским краем мог соперничать в блеске с любым столичным балом, а относительно разнообразия обстановки и разноплеменности гостей стоять несравненно выше. Тут, как и в экспедиционном отряде, можно было встретить представителей всех европейских и азиатских наречий. Красавицам не было счета, и в сонме их, как две звезды первой величины, светили Нина Грибоедова и сестра ее Катерина. Вольховский, старинный приятель их отца, князя А. Г. Чавчавадзе, сам подвел меня к его супруге княгине Саломе и к дочерям и представил как одного из страдальцев последней экспедиции. Не знаю, насколько эта оговорка надбавила интересу в мою пользу, помню только, что они своею добродушною встречей возбудили во мне смелость на другой же день явиться к ним на поклон. Не прошло месяца, и я стал у них хотя не домашним человеком, но таким, который бывал ежедневно, обедал очень часто и просиживал долгие зимние вечера, когда они сами не были приглашены в гости.

Впрочем, не я один сделался постоянным посетителем их дома и верным поклонником двух привлекательных сестер. Я примкнул только скромным оруженосцем к многочисленной, не одними мундирами блиставшей фаланге ревностных обожателей их красоты и душевных качеств. Были тут страдальцы готовые тотчас же повергнуть к их прекрасным ногам сердце и руку, если бы только проглянула искра надежды на благосклонный прием такого жертвоприношения. Все напрасно. Шестнадцатилетняя вдова Грибоедова умерла под вдовьим покрывалом, а сестра ее несколько лет спустя, сделавшись женой владетельного, поступила в светлейшие Екатерины Александровны. Я же был слишком молод и зависим от обстоятельств, чтобы заноситься со своими претензиями так высоко; не видя цели и проку, остерегался осаждать их сердца вздохами, на которые вообще не любил тратить время и, может статься, по этим самым причинам был награжден откровенным расположением, если меня не обманывает самолюбие; быть может, одна душевная доброта заставляла их ласково переносить частое присутствие молодого, не слишком занимательного человека, в котором только и могла для них иметь цену его

безрасчетная привязанность ко всему дому; не хочу однако для собственного утешения примириться с мыслью, чтобы тут не было хоть искры настоящей дружбы. Я очень любил все семейство; и по сию пору не могу дать себе полного отчета, которая из сестер поистине мне больше нравилась. Лучистые глаза Катерины Александровны и ее чудная улыбка жгли мне сердце, томная красота и ангельский нрав Нины Александровны обливали его целительным бальзамом, к одной стремились глаза и сердечные чувства, к другой влекло душу непреодолимою силой.

— Как тут решить и ума не приложишь. Годами длилось наше знакомство без всякой перемены. Князь Александр Герсевич и княгиня Саломе были со мной всегда одинаково ласковы, Катерина Александровна и в сани светлости дарила улыбкой, а Нина Александровна продолжала обнаруживать искреннее участие. Короткое знакомство с семейством Чавчавадзеви принесло еще другие плоды. Примеру его последовали в отношении меня и прочие грузинские семейные дома, в Тифлисе мне стало жить тепло и уютно.

В бытность барона Розена, Чавчавадзевы провели в городе только одну зиму. Жили они недалеко от Мадатовской площади, в доме у доктора Деннера. Гостиная их не опорожнялась от гостей; каждый день с утра собирались к ним родственники и родственницы грузинские, потом начинали приходить русские, один за другим, как кто освобождался только от службы. За стол садились иногда кроме семейства по двадцати неожиданных гостей; князь Александр Герсевич держался еще старинных правил русского и грузинского гостеприимства оставлять каждого, кто пришел незадолго перед обедом, и через это порядком расстроил свое состояние. К числу самых частых посетителей дома принадлежал и Николай Павлович Т-в. Нина Александровна затронула его сердце, и он высказывал ей свои чувства полусерьезно, полушутливо, всегда очень умно, но в тактах кудряво-цветистых фразах, что она не могла слышать без смеху его объяснений в дружбе и преданности. Высокий, худой, близорукий, природою наделенный длинными, необыкновенно тонкими ногами, про которые сам говаривал, что осужден ходить на чубучках, он был притом в высшей степени рассеян и, не зная куда девать ноги, имел привычку заплетать их за ножки своего стула. Это обыкновение не раз уже ставило его в весьма затруднительное положение. Однажды у Чавчавадзеви играли вечером в какую-то игру, во время которой играющие должны сидеть в кружке и вставать со стула каждый раз когда назовут цвет, зверя, или цветок заранее им присвоенные, иначе обязаны платить фант за свою невнимательность. В кругу блистали все хорошенькие глазки, какие только были в тифлисском обществе. Вмешавшись в игру, Николай Павлович опять заплет свои ноги самым хитрым узлом и в глубоком раздумье глядел на Нину Александровну. Неожиданно назвали принадлежащее ему качество. Он не отозвался. Повторили слово; тогда, забыв о своих ногах, он вдруг поднялся и то же мгновение растянулся посреди комнаты вместе со стулом, приставшим к нему как корень к дереву. Трудно было удержать серьезный вид, все расхохотались; одна Нина Александровна с участием бросилась ему помогать. При своем добродушии, она не хотела и замечать его странностей, а видела в нем только хорошие стороны честного, доброго человека и всегда говорила, что очень его любит и находить истинное удовольствие проводить с ним время.

Этот самый Т-в собирал нас к себе на литературные вечера. В просторной комнате широкий, мягкий диван занимал три стены, позволяя предаваться вниманию сидя, лежа, в каком угодно

было положении. Посредине стоял большой стол, покрытый зеленым сукном, над которым привешенная к потолку единственная лампа ярко освещала чтеца, оставляя слушателей в таинственном мраке. При такой искусно подготовленной обстановке он читал нам отрывки из своего *Cicerone del Caucaso*, в котором описывалась рассказанная мною чеченская экспедиция с поэтической точки зрения, между тем как я старался удержать свое повествование в тесных пределах фактической прозы. Умно было написано, занимательно слушать; случалось ему только утомлять нас, зачитываясь до поздней ночи. После чтения подавали хороший ужин, которым, к сожалению, не могли вполне насладиться одолеваемые сном слушатели. Кто-то из приятелей вздумал ему посоветовать переменить порядок, начав с ужина и кончая чтением. Он согласился, и на следующий раз мы сначала утолили голод, а потом разлеглись на диване слушать чтеца. Уже с час декламируя с жаром, он нисколько не замечал, что делается в темных концах комнаты. При одном удачном пассаже Т-в обратился к слушателям: не правда ли счастливое сравнение? (Ему сильно нравились уподобления во вкусе тогдашней французской школы.) Нет ответа. Он приподнял ширмы над лампой, и что же представилось его взору? Круг слушателей, благодаря соблазнительному дивану, покоился в глубоком сне, а на вопрос его инде отвечали только одобрительным храпом. С той поры он прекратил чтения, но как умный человек продолжал угощать обедами и ужинами без литературной приправы.

Тифлисское общество вообще очень разбогатело людьми, с которыми приятно было жить. Ординарец Корпусного командира, граф Девиер, занял вместе с Цукато маленький красивый домик над оврагом, пролегавшим через Эриванскую площадь. Он был очень хороший пианист, и скоро образовался около него кружок любителей музыки, с удовольствием собиравшихся слушать его приятную игру. Сколько прекрасных вечеров провел я у этих хороших, талантливых людей, давно уже покинувших здешний мир. На Эриванской площади жили еще: адъютант Языков, умерший в помешательстве, Павел Бестужев и Каменский с молодым красивым кумыкским князем Мусса-Хасаем, которого они взялись воспитывать на европейский лад, Савостьянов и умный, хронической ленью одержимый, Клементий Р., кандидат в офицеры генерального штаба, сыпавший веселыми остротами, когда лежал на своем покойном диване, нахмуренный и едкий, когда необходимость заставляла его расстаться с ним хотя бы на самое короткое время. Число адъютантов Корпусного командира умножилось еще К. Рихтером, отличным офицером и самым добрым товарищем, какого только можно пожелать. Веселый, беззаботный, он глядел на жизнь как на нескончаемый праздник и, не скупясь, тратил ее на удовольствие себе и другим, пока тяжкая болезнь не сокрушила его упругую натуру.

К числу лиц, разнообразивших интерес нашего круга, бесспорно принадлежали многие из помилованных декабристов, отбывавших на Кавказе последние годы своего отчуждения от родины. Это были люди, получившие большею частию хорошее воспитание, некоторые с замечательными душевными качествами, испытанные несчастьем и наученные тяжелым опытом жизни. Для молодежи они могли служить спасительным примером и уроком. Спрашиваю, можно ли было, узнав, не полюбить тихого, сосредоточенного Корниловича, автора Андрея Безымянного, скромного Нарышкина, Коновницына, остроумного Одоевского и сердечной добротой проникнутого Валерьяна Голицына. С Александром Бестужевым (Марлинским) я имел случай часто встречаться у брата его, Павла. Литературный талант его известен и давно оценен, поэтому нечего о нем говорить. Как человек он отличался благородством души, был слегка тщеславен, в

обыкновенном светском разговоре ослеплял беглым огнем острот и каламбуров, при обсуждении же серьезных вопросов путался в софизмах, обладая более блестящим чем основательным умом. Он был красивый мужчина и нравился женщинам не только как писатель, о чем в мое время кое-что поговаривали в Тифлисе.

Наши сношения с этими лицами были самые открытые и безвредные в политическом смысле. Да мало ли из них, попав в беду совершенно молодыми людьми, сами не зная как, были способны к чему угодно, только не к политической агитации. При всем этом нашлись такие люди и в Тифлисе, которые «из ревности и преданности», а, полагаю, ближе всего из ошибочного низкого расчета, писали тайные доносы насчет опасности, могущей возникнуть от сближения молодых офицеров с людьми, осужденными законом за политическое преступление. Не входя в их забытое прошлое, с которым они сами давно покончили, без всякой задней мысли и я водился с ними, не опасался показываться публично в их обществе и никак не скрывал мою симпатию к Нарышкину и Голицыну. По этому случаю один господин счел обязанностью шепотом мне посоветовать быть поосторожнее.

— В чем? — спросил я.

— В выборе вашего знакомства.

— С кем?

— С господами... вы сами знаете. Ведь еще помнят, за что они попались.

— Что же может выйти из этого, если я стану продолжать мои сношения, как их начал.

— Начальство может усомниться в направлении вашего образа мыслей.

— Жалею о начальстве, которое во мне так мало уверено. Каждый навет, которым бы вздумали меня очернить, я надеюсь опровергнуть фактом, не одними уверениями; поэтому ничего не опасаясь. Прощайте, благодарю за нежное участие.

Тот же самый господин гораздо позже советовал мне также прервать знакомство с Чавчавадзевыми по поводу довольно глупого дела, в которое отца их вмешали совершенно

безвинно; я опять его не послушал и продолжал видеться с ними. Если это кому приходилось не по душе, то жалею о нем, а не о себе, ибо находил большое удовольствие к ним ездить.

В продолжении всей зимы с тридцать второго на тридцать третий год в Тифлисе много веселились, как веселились в мою бытность в Грузии еще одну только зиму в начале управления генерала Головина, когда его супруга с дочерью и вернувшиеся в город Чавчавадзевы наперерыв старались оживить общество помощью своего неисчерпаемо любезного гостеприимства. В обе зимы нам как будто не доставало времени жить. Обеды в семейных домах сменялись пирами в загородных садах, где под звук тамбурина шемахинских баядерок вокруг стола ходили азарпеш да турий рог, через край переливаясь красною струей кахетинского. Вечера сменялись балами, и почти никогда ими не кончался наш день; чаще всего утренняя заря заставляла нас еще у кого-нибудь из товарищей, к которому собиралась окончательно израсходовать остаток сил, не истощенных балом. К поддержанию ровного, всегда приятного хода нашей беззаботно веселой жизни много способствовал вежливый, очищенный от неуместных слов и шуток тон, господствовавший тогда в кругу офицеров, собранных в Тифлисе, можно сказать, со всех концов России. В продолжении всего управления барона Розена за исключением двух неприятных случаев, коснувшихся до людей, не принадлежавших собственно к нашему кругу, в штабе его не произошло ни одной скандальной истории, не случилось вызова и почти не было сказано неприятно громкого слова. Было принято за правило во всех собраниях, на холостых обедах и где бы то ни было, тотчас прекращать разговор, если кто-нибудь из присутствующих объявлял, что он его затрагивает неприятным образом; и все общество единодушно останавливало того, кто бы вздумал поступать в противном смысле. Завели и поддерживали этот тон между нами старшие по летам и по званию во главе их А. Е. Врангель, о котором я и прежде имел случай упомянуть как о человеке с отлично благородным характером.

В нашей дружной семье не обошлось однако без уroda. Прежде я сказал уже несколько слов о братьях П., которые подобно двум фальшивым нотам вмешались в общую гармонию тифлисского военного общества. Вернувшись из экспедиции, они зафанфаронили, стали жить по княжески, не имея достаточных на то средств, никого этим к себе не привлекли и, замотавшись, принуждены были скрыться со сцены, освищенные публикой, не давшей увлечь себя фальшивым блеском их мотовства.

Кроме их, был еще субъект, невольно обращавший на себя всеобщее, хотя не совсем лестное внимание нашего военного круга. Это был известный П., поляк, не графского, а просто шляхетского происхождения. Как бы однако ни помещалась его колыбель, под графскою короной или под соломенной крышей, он был во всех отношениях замечательно талантливая личность и умел, как никто, направить свое плавание по взволнованному житейскому морю. Высокого роста, толстый, с опухлым лицом он при этой не совсем благовидной наружности обладал таким приятным органом, от которого млело сердце, притом умел изъясняться так сладко, так приятно, что бывало слушаем его с невольным увлечением. Он все знал, все видел, и мало существовало европейских диалектов которыми бы он не владел в совершенстве. Его прошедшее было покрыто интересною таинственностью. Носились темные слухи, будто бы он в Южной Америке дрался за свободу и в своей жизни перенес много несчастий, а какие именно, никто не ведал.

Положительно знали об одном, что он прибыл на Кавказ не по собственному желанию и принужденно обрелся в скромном чине армейского прапорщика. На Кавказе он начал свою карьеру как ловкий человек самым невидным образом, выпросившись на время экспедиции в адъютанты к командиру второго мусульманского полка. В этой должности он сумел привлечь на себя внимание Корпусного командира, который по окончании военных действий приказал, не возвращая в полк, оставить его при штабе. В Тифлисе он держал себя первое время необычайно скромно, в гостиных выбирал самый отдаленный уголок и с видом человека, угнетенного судьбой, едва шепотом передавал свои всегда льстивые замечания. В служебном отношении он избегал всякого заметного дела и трудился в тени, для других.

В это время у баронессы Елизаветы Дмитриевны стали собираться два раза в неделю, как было заведено до экспедиции. Чтобы хотя несколько разнообразить свои вечера, она принялась эксплуатировать салонные таланты подчиненных своего супруга: кого заставляла играть на фортепиано, кого аккомпанировать на скрипке и виолончели, кого петь, кого рисовать, читать или декламировать. В один вечер выступил на сцену и П., произнес французские стихи собственного сочинения и пожал всеобщую похвалу. Этот приятный талант возбудил желание сблизиться с ним, его стали чаще приглашать, и через самое короткое время он сделался у Корпусного командира домашним человеком. Барон поручил ему свою частную корреспонденцию на французском языке и кроме того стал употреблять в делах щекотливого свойства, требовавших ума и ловкости. П. вошел этим путем в желанную колею. Но окончательно завладел он доброю, честною душою Григория Владимировича, когда в день рождения его второй дочери прочел поздравительную статью: «Les seize ans d'Adele», написанную с таким избытком религиозного чувства и тонкого понимания девичьих отношений к свету и к семейству, что баронесса, слушая, только вскидывала глаза к небу, а у барона навернулись истинные слезы умиления. При виде достигнутого им эффекта сам П. зарыдал; баронесса от души подала руку, барон обнял его, и с той поры он занял в кругу их семейства место самого близкого и доверенного человека. Мне самому не раз случалось видеть, как он разыгрывал сцены, которые далеко не были в моем вкусе; да и у многих других сердце к нему не лежало. Цукато, например, терпеть его не мог и в некоторых случаях даже явно выражал, насколько он питает к нему уважения; но он переносил это с христианским смирением, отнюдь не от недостатка смелости, а потому что не имел в расчете ссориться с людьми, пользовавшимися некоторым значением в военном обществе. У него были разные, не дешево обходившиеся вкусы между прочим, любил он хорошо покушать, а на удовлетворение их требовалось душевное и телесное спокойствие и средства, которыми он, к несчастью, не обладал. Но для этого источники раскрылись ему без долгого искания, благодаря расположению барона и влиянию, которое он себе усвоил. Армяне народ чуткий, зоркий, не проглядят лису, когда она потянула хорошим следом. Корпусный командир верил ему на слово; да как было и не верить такой чистой, бескорыстной душе, безотчетно преданной ему и всему дому! Долею году прожил он в Тифлисе в этом приятном положении, пользуясь плодами неограниченной веры высшего начальника и питая замечательную вместительность своего желудка, переносившего после сытного завтрака, для которого он держал отличного повара, еще два обеда в гостях, у кого-нибудь в два часа и потом в четыре у барона, где его каждый день ждал прибор. Потом для него создали особое место. Во внимание многообразных познаний и на деле доказанного дипломатического таланта, его назначили с большим содержанием чем-то вроде английского резидента к азиатскому двору владетеля мингрельского, и тут-то он попал на широкую дорогу всякого удовольствия, позволенного и запрещенного. Много повредил он своему доброму покровителю и делом, и направляя его на ложный след касательно вещей и людей. Без проку

боролся Вольховский против его влияния; напрасно другие старались раскрыть глаза истинно честному старику; все доказательства отвергались им с негодованием как клевета, порожденная чистою завистью. Депеши нашего импровизованного дипломата всегда были чрезвычайно занимательны, блистали мыслями, слогом и окончательно объясняли, как в стране, порученной его наблюдению, все обстоит благополучно и быстро подвигается к установлению порядка наивыгоднейшего для России. Прозрел барон, да и то не вполне, когда, оставляя Кавказ, ему пришлось заплатить за П. тысяч до десяти, выданных ему заимообразно из экстраординарной суммы по его собственному приказанию.

После рассказа о том, как мы жили в Тифлисе, надо же припомнить и то, как уладилось служебное дело для меня. Пока мы ходили по горам и по лесам, в Петербурге были составлены новые штаты для генерального штаба, воспрещавшие в моем малом чине исправлять должность начальника отделения. Предложение же Вольховского заведовать им вместо другого, который бы номинально пользовался этим званием, я отклонил, не видя в том проку ни для себя, ни для службы. Владимир Дмитриевич сначала вознегодовал на меня за отказ, но потом дело обошлось, и он стал давать мне работу прямо от себя, которую мне позволено было исполнять на квартире, минуя штабную канцелярию.

Жил я далеко не роскошно с товарищем, князем Чегодаевым, в солдатской слободке, в небольшом домике, который мы нанимали у женатого унтер-офицера. Квартал был не щеголеват, комнаты малы, невысоки, меблированы крайне незатейливо, но зато, проживая как на даче, мы пользовались солнцем и воздухом без всякого стеснения и наших лошадей всегда имели пред глазами, что в Грузии считалось не последним удобством. Маленькая серая бача, мой неразлучный товарищ, без труда могла приходить ко мне за хлебом и за сахаром, а бывало, едва раскроешь по утру глаза, а она уже глядит в комнату через низенькое окно. И другими животными, и разною птицей наш двор был не беден; одним словом в солдатской слободке мы пользовались всеми прелестями буколической жизни, имея притом не далее двухсот шагов от себя город со всеми его приманками.

К Пасхе вышли награды за экспедицию. Благодаря чеченской пуле я был произведен в поручики и переведен в генеральный штаб; далее не простирались в то время мои честлюбивые желания. Около той же поры прибыл в Тифлис наименованный обер-квартирмейстером кавказского корпуса полковник Христофор Христофорович фон-дер-Ховен, один из честнейших и добрейших людей, с которыми я нашел счастье встретиться в жизни. У него нам было жить и служить как у Христа за пазухой. Чего бы лучше, служба не трудная и приятная, начальники люди хорошие, товарищи отличные, общество привлекательное, небо ясное — и мы действительно обеими руками ловили удовольствия, которые рассыпали пред нами молодость и благоприятные обстоятельства, пока совершенно неожиданно никем нечаянный случай не разрушил одним взмахом лучшей связи нашего беззаботно счастливого существования. Черная тень легла между нами и грузинским обществом — на короткое время — но удовольствие уже было испорчено. Сказал бы, что знаю про это коротко мне знакомое дело, да лучше, кажется, промолчать до поры до времени. И без того пора кончить.
